



Алессандро Барикко

Такая история

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6607174

Алессандро Барикко. : Азбука, Азбука-Аммикус; Санкт-Петербург; 2011

ISBN 978-5-389-07740-9, 978-5-389-02884-5

Оригинал: Alessandro Baricco, "Oceano Mare"

Перевод:

Я. Арькова

Аннотация

Итальянский писатель Алессандро Барикко сегодня один из интереснейших романистов Европы. Его изысканные романы, напоминающие одновременно и притчи, и триллеры, и поэмы в прозе, уже переведены на десятки языков и положены в основу спектаклей и фильмов.

В настоящем издании представлен роман «Такая история», где история Европы первой половины XX века переплелась с личной историей героя – худенького мальчика с золотой тенью и странным именем Последний, выросшего страстным автогонщиком, влюбленным в дороги. Знакомый изгиб трассы видится ему в морщинах на лбу старика, в линии женских плеч. Ведь «это не трасса, а целая жизнь», где так хочется без рассуждений мчаться вперед, но порой важно и уметь поворачивать.

Между автопробегом Париж – Мадрид 1903 года и ралли «Милле Милья» 1950-го уместились в романе Первая мировая война и события частной жизни героя – истории любви, дружбы, предательства, близости, отчуждения... «Только он и восемнадцать поворотов – квинтэссенция его жизни».

Алессандро Барикко – один из ярчайших современных писателей, символ итальянской литературы, обладатель множества литературных премий: Кампьялло, Виареджо, «Палаццо аль Боско», Премия Медичи... Кроме того, Барикко – журналист, литературный и музыкальный критик, телеведущий, сценарист и режиссер, а также один из основателей и преподавателей школы писательского мастерства в его родном Турине.

В настоящем издании читателю предлагается одна из его интереснейших книг, «Такая история» – роман об автомобильных гонках, причудливых поворотах судьбы и гоночной трассы.

Содержание

Увертюра	5
Детство Последнего	11
Капоретто. Мемориал	35
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Алессандро Барикко

Такая история

Этот роман подобен гонке, волшебному и стремительному путешествию, с неожиданными поворотами и сменами ритма... Этот роман дороге и посвящен, единственной и неповторимой трассе, которая из воображения вырывается в реальность, которая говорит о рождении, о войне, о смерти, о безумном двадцатом веке и о любви.

Николай Александров

Увертюра

Париж, теплая майская ночь 1903 года

Глубокой ночью сто тысяч парижан покинули свои дома и дружно устремились к вокзалам Сен-Лазар и Монпарнас. Кто-то вообще не ложился спать, кто-то поставил будильник на необычное время, чтобы, проснувшись, выскользнуть из постели, бесшумно умыться и, тыкаясь в темноте, отыскать пиджак. Иногда по улице шли целые семьи, но чаще в путешествие отправлялись поодиночке. Уму непостижимо. Жены во сне вытягивали ноги на пустую половину кровати. Родители обменивались несколькими словами, возвращаясь к разговору, начатому день, два дня, неделю назад. Тема – самостоятельность детей. Отец приподнимал голову с подушки и смотрел на часы. Два. Причиной странного шума в два часа ночи были сто тысяч человек – ни дать ни взять, беспрепятственно текущий по призрачному руслу поток. Ни единого камня на пути, вода, и только вода. Людской гомон просачивался сквозь закрытые ставни, долетал до пустых улиц, обтекал преграды. Стотысячная толпа взяла приступом вокзалы Сен-Лазар и Монпарнас, каждый боялся, что ему не достанется места в вагоне. Так или иначе, мест в вагонах до Версаля хватило всем. В два часа тринадцать минут поезд тронулся. Поезд идет в Версаль.

В королевских садах, на траве, окутанные смутным запахом машинного масла и победы, пока еще безмолвные и неподвижные, их ждали 224 АВТОМАШИНЫ – 224 поршневых сердца в железных кожухах. Они стояли там, на временном пастбище, готовые к старту большого пробега Париж – Мадрид, на юг Европы, из тумана к солнцу. Дай мне увидеть мечту, скорость, чудо, не останавливай меня грустным взглядом, позволь прожить эту ночь вдали от тебя, на краю света, одну только ночь, потом я вернусь В садах Версаля, мадам, стартует пробег мечты, «панар-левассор», семьдесят лошадиных сил, четыре цилиндра из чистой стали, как у пушек, мадам АВТОМАШИНЫ могли двигаться со скоростью до 140 километров в час, подпрыгивая на ухабах грунтовых дорог, уму непостижимо, в то время как поезда, чувствовавшие себя уверенно на сверкающих рельсах, с трудом дотягивали до 120. В те времена они, поезда, были, так сказать, уверены, что быстрее ехать невозможно: это был предел, и это был край света. Вот почему сто тысяч человек высыпали в Версале из вагонов в три часа утра теплой майской ночью, позволь мне прожить эту ночь вдали от тебя, на краю света, одну только ночь, прошу тебя, потом я вернусь Стоило одному-единственному автомобилю показаться на проселочной дороге, как люди мчались во весь дух навстречу облаку пыли напрямик через пшеничное поле либо выскакивали из лавок и наперегонки, точно дети, бежали посмотреть, как она проезжает мимо церкви, и только головами качали. Но все 224 вместе – настоящее чудо. Самые быстрые, самые тяжелые, самые знаменитые. Они были королевами, АВТОМАШИНА была королевой, потому что в роли служанки ее пока никто даже представить себе не мог, она родилась королевой, и пробег был ее тронем, ее короной, автомашин, как таковых, еще не существовало, существовали КОРОЛЕВЫ, приезжай посмотреть на них в Версаль этой теплой майской ночью тысяча девятьсот третьего года.

Пробег начался на рассвете. Один за другим автомобили отправились в путь. Согласно правилам, они стартовали по очереди, с минутным интервалом. Маршрут был разделен на три этапа: победитель определялся по сумме результатов. В пробеге участвовали и мотоциклы, но главная роль принадлежала не им. Впереди себя ты видел густое облако пыли, стартовавшее почти одновременно с тобой. Когда ты въезжал в него, то знал, что соперник

совсем близко. Автомобиля ты не видел, но чувствовал, что он здесь. И вслепую гнался за ним. Это могло продолжаться долго – не один километр пути. Когда наконец ты видел зад автомобиля, то начинал кричать, чтобы тебе уступили дорогу. Ты ехал в непроглядной пыли до тех пор, пока не удавалось поравняться с ним и проскользнуть мимо. Тогда облако рассеивалось, и твоим глазам открывалась дорога. Теперь все впереди принадлежало тебе, ждало тебя, все это ты заслужил сумасшедшим обгоном. Крутой поворот, узкий мост, прямая как струна дорога, обсаженная тополями. Колеса в резиновых шинах чиркали по краю канав, по тумбам, парапетам, мелькали в изумленных глазах зрителей, которые непонятно как умудрялись оставаться в живых. Что до испанцев, то в Мадриде гонщиков ждали на следующее утро, на рассвете. Мадридцы решили провести ночь в танцах. Волосы разделены пробором, отчего моя *sabeza*¹ похожа на холм с двумя рядами золотых пшеничных колосьев, это я – старший официант на банкете, под голубым шатром, здесь, в Испании тысяча девятьсот третьего года стол уже накрыт на 224 персоны, ровно столько, сколько пожелал король. Финишное полотнище – и рядом весь этот ослепительный блеск серебра и хрусталя. Один за другим я протер хрустальные бокалы и через несколько часов протру их снова, чтобы стереть с них утреннюю влагу. Я пообещал, что они будут идеально звенеть под грохот автомашин-королев, для которых я велю поливать последние сто метров дороги каждые два с половиной часа. Ни единой пылинки на моем хрустале, *hombre*² Дай мне губы сеньорит, что прильнут к хрусталу бокала, дай мне дыхание, от которого он запотеет, дай мне биение сердца, с которым в эту секунду примеряют платье перед испанскими зеркалами, – им я буду завидовать до конца своих дней Тем временем первые автомобили уже прибывали в Шартр. При въезде в города они тормозили и в сопровождении комиссаров пробега на велосипедах медленно пересекали населенный пункт, словно собаки на поводке. От раскалившихся в пути моторов исходил резкий запах – иначе и быть не могло. Гонщики пользовались возможностью глотнуть воды и протереть очки. А те, что ехали на больших машинах, – перекинуться словами с механиком. На окраине города велосипед комиссара съезжал на обочину, и автомобили вновь с ревом устремлялись вперед по открытой местности. Первым в Шартр прибыл Луи Рено. В Шартре был собор. В соборе были витражи. В витражах было небо.

Миллионы любопытных прилипли к обочинам, точно мухи, слетевшиеся на мед, длинной каплей стекавший по полям Франции. Первым остановился Вандербилт – у его «мерса», в профиль напоминавшего торпеду, треснул цилиндр. На глазах у зрителей машина сползла к берегу канала. Барон де Катер проехал три рондских городка, приветливо помахивая рукой, и, вырвавшись на длинную прямую, параллельную реке, атаковал Жарро и Рено. Он слишком поздно заметил поворот, чтобы вписаться в него, и «мерседес» налетел на каштан. Вековое дерево разодрало сталь. Одна женщина в Абли вот уже полчаса слышала страшный шум и вышла из дома посмотреть, в чем дело. Нет бы хоть два яйца на столе оставила – так и вышла с ними. Она стояла посреди дороги в ожидании приближающегося облака, которое объяснило бы шум. Оно надвинулось с такой скоростью, какую женщина даже вообразить не могла. Женщина отступила с такой медлительностью, о какой гонщик уже забыл. Рука сжалась и раздавила яйца. Возможно, кто-то и услышал треск скорлупы, но только не Морис Фарман, чей «панар-левассор» вырвал женщину из жизни, отбросив на несколько метров в сторону, где она в мучениях умерла – умерла смертью, теоретически недоступной ее пониманию Судя по первым скудным сведениям, что-то случилось у Марселя Рено. Можно было предположить аварию. Подоспевшие вскоре подробности нарисовали такую картину: Марсель Рено лежит на обочине, над ним склонился священник, а мимо один за другим проносятся автомобили соперников, окутывая клубами пыли сцену соборования. Его выбросило

¹ Голова (*исп.*). (Здесь и далее – прим. перев.)

² Зд.: друг (*исп.*).

из машины, говорили потом, и неуправляемый четырехколесный таран нацелился в черное туловище толпы. Никто не мог сказать, почему обошлось без кровопролития. Марсель Рено отбил себе внутренности. Насмерть. Ветер, ясное дело, все время срывал со стола салфетки фламандского полотна, пришлось убрать их, чтобы не действовали на нервы, и стол из-за этого выглядит теперь не так, как надо. В центре корзина с фрезиями. Красными и желтыми, это цвета королевства. Узнав из каблогаммы о смерти Рено, испанцы представили, как они почтут его память минутой молчания. В то же время в их сознании шевелилась мысль, что именно после этой смерти пробег обрел надлежащую весомость, и теперь самые яркие, самые богатые торжества в его честь уже не будут выглядеть ни чрезмерными, ни глупыми. Поняв это, все облегченно вздохнули. Она же, самая младшая, сказала, что останется дома до захода солнца и только ночью пойдет танцевать. Чего вдруг, спросил отец, шла бы со мной. Она была ослепительно красива. Поправила рукой локон на затылке Информационная доска возле финишного створа сообщала о ходе пробега, и уже в полдень со всей Испании стали съезжаться болельщики, среди которых были и представители самых знатных семейств, некоторые с детьми. Многие думали вернуться под вечер домой, чтобы переодеться и освежиться перед долгой ночью. Потом кто-то сказал, что «уолсли» Портера налетел на железнодорожный шлагбаум и загорелся.

Не могу забыть, как у меня за спиной проносятся, не сбавляя скорости, всё новые и новые машины, а я стою и смотрю на человека в охваченном пламенем автомобиле: он сохранил достоинство, у него прямая спина, он скрестил руки на груди, лишь свесившаяся набок голова говорит о том, что он уже мертв. Ведра с водой еще не успели появиться. Столб черного дыма поднимается в небо. Говорю вам, что у меня за спиной проносились машины, не думайте, будто мне это показалось. На окраине Ангулема, откуда оставалось три километра до контрольного пункта, какой-то крестьянин, сказав, что не знает, из-за чего такая суматоха, и что плевать ему на все, кроме собственных забот, свистнул собаке, чтобы перегнала через дорогу трех его коров. Ричард появился со скоростью 120 километров в час, тормозить было поздно, и узкий просвет между двумя тополями показался ему путем в бесконечность. «Мерседес» поступил по-своему, и тополя сдвинулись, словно никакого просвета и не было. Ричард умер сразу, и к его ребрам прибавилось еще одно – темный обломок полированного деревянного руля. В Париж приходили каблогаммы, из которых трудно было что-то понять, поскольку содержащиеся в них сведения о пробеге были отрывочными – что-то вроде ключев депеш, разорванных взрывом. Сообщаю об аварии. Огромные толпы зрителей. Предварительные результаты на контрольном пункте в Бартаме. Смерть наступила в 11.46. Вмешательство непредвиденных обстоятельств. Из-за этой путаницы людям в Мадриде, ответственным за информационную доску, приходилось, стоя под палящим солнцем, постоянно перевешивать таблички с фамилиями участников и вписывать мелом результаты. Результаты им передавали на бумажках, они выучивали их на память, переписывали крупными буквами, а листочки нанизывали на специальную наколку. Им помогал мальчик, чьей обязанностью было выбрасывать листочки в урну, когда наколки уже не хватало. Мальчик оказался смысленный, он ничего не выбрасывал и на следующий день дома все перечитал. Ничего другого он с тех пор не прочел, находя все книги либо детским лепетом, либо сентиментальщиной. Так или иначе, самым подходящим словом было *retirado*³, поскольку оно не объясняло разницы между остановкой из-за неисправности мотора и смертью в тисках искореженного металла. Фамилии *retirados* были написаны печатными буквами в нижней части информационной доски. Мадридцы читали все удлиняющийся список, некоторые, посмеиваясь, гадали, доведется ли им вообще увидеть кого-нибудь на финишной прямой, или они

³ Зд.: выбывший из соревнований (*исп.*).

ждут напрасно. Вам будет на что посмотреть, подумал он, на мою красавицу-дочь, подумал в ту самую минуту, когда огромный «дитрих» Стеда, развившего бешеную скорость, перелетал через парапет. Очевидцы клялись, что колеса продолжали крутиться в воздухе и мотор напрягал всю мощь своих лошадиных сил за секунду до того, как машина обрушилась в реку. Воду, мутную от бензина и крови, видели прачки двумя километрами ниже по течению, но не поняли, в чем дело. А вот в Париже кое-кто начинал уже понимать.

На расстоянии выстрела от все еще кровоточащей реки, в местечке под названием Беламас, во время тридцать второго обгона глаза Турана затуманились от усталости, и автомобиль скользнул к обочине, как будто гонщик решил выйти из игры. Ребенок закричал, но беззвучно, только широко раскрыл рот. Рядовой Дюпюи, находившийся в отпуске, бросился между ним и автомобилем, чтобы разорвать определенную роком смертельную линию между железным чудовищем и ребенком. Ребристый капот подбросил солдата в воздух, как тряпичную куклу, и он умер героем, не успев коснуться земли. От столкновения с тряпичным солдатом машину вынесло на середину дороги, откуда она, словно раненое животное, обезумевшее от боли, рванулась вправо и врезалась в толпу. Потом стало известно, что один человек погиб. Но родители все равно приводили детей, девушки, нервно хихикая, ходили стайками взад-вперед вдоль дороги. Лавочники качали головой, часами стоя в дверях своих лавок. К ним присоединялись подходившие покупатели. Некоторые забирались на колокольни, потому что оттуда лучше видно. Сегодня можно было все. Называли цифру в три миллиона человек, которых объединило удивление и заворожило чудо. В парижских канцеляриях из каблогграмм постепенно родился образ длинной непредсказуемой змеи: ослепшая не то от ярости, не то от усталости, оглушенная шумом толпы, она ползла по Франции, глотая пыль и наобум брызжа ядом. А ответственные за мадридскую информационную доску, храня молчание, лихорадочно передвигали таблички, из которых можно было узнать исключительно о напряженной борьбе и о победах на этапах пробега. Под палящим солнцем репетировали духовые оркестры, и первые танцующие, не желая ударить в грязь лицом, вспоминали па, разученные еще в детстве. Участники пробега будут с нами танцевать, будут нашими кавалерами? Спрашиваешь! Я бы хотела подарить ему платок, а поцелуй пока придержу, не все сразу. В Версале, откуда все начиналось, садовники оценивают ущерб, причиненный саду, где царит сейчас величественная тишина, и, точно вороны на засеянном поле, переступают, наклоняясь, чтобы подобрать оставшийся после праздника мусор. Один выпрямляется и смотрит в сторону Испании. Может быть, верит, что в автомобилях проснется совесть и некоторые из них вернутся – кто их знает. Но автомобили не возвращаются. У monsieur le Président⁴ спросили, как он относится ко всему этому, и он сказал, что ему трудно что-либо понять. Сказал, что нет ясности. На всякий случай повернулся к Дюпену, которому полностью доверял. Тот помахал в воздухе руками, изображая летящую птицу. Или стаю, которую вспугнул выстрел.

Между тем первые автомобили въезжали в Бордо – первый промежуточный финиш, предусмотренный прозой гонок. Хронометристы в элегантных костюмах изучали стрелки на темных циферблатах, озвучивая поэзию сложных чисел, обозначающих показанное на этапе время. Гонщики вылезали из машин и просили воды, они еле держались на ногах и натянуто улыбались в ответ на реплики из толпы. На похлопывания по спине. Когда гонщик сдвигал очки на лоб, показывались испуганные глаза на побелевшем лице. Можно было подумать, что он увидел привидение. Или пожар. Время от времени я бросаю взгляд на информационную доску – старшему официанту полагается знать все, он должен быть готов ко всему.

⁴ Господин президент (фр.).

Комплимент в адрес победителя придает изящество движению, которым поднимаешь уроненную вилку: чтобы понять эти тонкости, нужно время. Все то время, что я порхал вокруг накрытых столов. Если сложить мои шаги, шаги, сделанные за всю жизнь, их хватит с лихвой, чтобы дошагать до Парижа, оставляя за собой едва уловимый запах одеколона. Ангел, идущий навстречу движению, *hombre* Постучав, он открыл дверь и сказал дочери, что автомобили уже в Бордо, но на нее это не произвело никакого впечатления, она даже не повернулась, лишь скучающе спросила, ветреный ли сегодня день. Не знаю, сказал он. Не знаешь, тихо сказала она. В Париже депутаты толпились в коридорах, кое-кто громогласно настаивал на вмешательстве правительства. Можно сказать, что еще вчера никто не знал толком, что такое автомашины, а кто знал, видел в них не более чем гипертрофированно дорогую игрушку для мужчин. Теперь же эти игрушки убивали. И депутатов это пугало, как неожиданный укус преданной собаки, или злая выходка ребенка, или письмо вероломной любовницы. Стрелки хронометров разобрались в суматохе на финише в Бордо, показав, что первым был Фернан Габриэль. Он сказал, что от Версаля до Бордо совершил 78 обгонов. У него так тряслись руки, что не удавалось зажечь сигарету. Это его рассмешило. Все вокруг тоже засмеялись. Подняв глаза на Дюпена, *monsieur le President* спросил, долго ли еще им ехать по французской земле, прежде чем все они уберутся в Испанию, чтобы там поливать кровью дороги. Дюпен сверился с листком, который держал в руке. На двести семьдесят первом километре пути Лоррен-Барроу почувствовал, что руки стали чужими, а руль превратился в какой-то непонятный предмет перед глазами. Он ехал с механиком. Попробовал крикнуть, но не смог издать ни звука. Возможно, я еще не говорил, что за столом будет королевская семья, и это объясняет мое протвоестественное спокойствие, плавность движений и золотистый свет *après-midi*⁵ Механик мечтал участвовать в гонках и не разочаровался в своей мечте, даже когда увидел приближающийся столетний бук, который через секунду вобрал в себя автомобиль, непослушный затекившим рукам Лоррен-Барроу. Невероятный конец: *Retirado Лоррен-Барроу*. Звучало как строка испанского поэта, если бы ее произнести вслух, а не написать мелом на черной доске. Взрыв остался во Франции, кровь и дым тоже, — а в Испании только поэтическая строка, пляшущие буквы. Дюпен исправил данные, добавив / оборванную жизнь механика, / хронометристов тонкую работу, / аплодисменты стариков, обочины / занявших, и тысячи зевак, / на выезде из Бордо / собравшихся, чтобы не пропустить / начало нового этапа, / скажи-ка, сколько человек погибло, / потребовал усталый президент Они бегут вдвоем, как могут бежать только дети, из деревни к дороге, навстречу гонкам, маленькие и одинокие, втайне от всех, бегут, потом идут и снова бегут; увидев дорогу, бегут к ней с КРИКАМИ, это не слова, а просто звуки, какие издают летом птицы в небе над площадью; наконец, они среди людей, стоящих в ожидании, скользят между их ног и пробираются в первый ряд, в глазах — белый шлейф дороги с профилем холма в глубине, это последний горизонт, лоно, которое породит чудо, облако пыли, неведомый шум и то, что они будут помнить вечно, как первое утро жизни. Пытаются отдышаться. Обмениваются взглядами. Друзья навсегда. Но: Дюпен складывает листок и убирает в карман. Испанский ветер поднимает льняные салфетки под хрустальными бокалами. В Версале вороны внезапно поднимают головы, словно при звоне неведомых колоколов. *Monsieur le President* делает скупой жест белой рукой, ребром ладони, как клинком. Остановите этих идиотов. Рукой старший официант поправляет на скатерти складки, которые ветер создал, а он уничтожает. Послушный Дюпен изображает поклон и выходит из комнаты. В это время сорок тысяч человек танцуют в Мадриде и не знают, что *c'est fini*⁶.

⁵ Послеполуденный (фр.).

⁶ Это конец (фр.).

Спешным торжественным указом французское правительство действительно остановило пробег. Чудовище задушили прежде, чем оно успело еще кого-нибудь убить. Из опасения, что это не понравится испанскому королю Альфонсу XIII, готовившему для автомашин-королев пышные светские почести в Мадриде, французы предложили организаторам перевезти автомашины из Бордо на Пиренейский полуостров поездом. И продолжить пробег уже по земле Испании, от границы до намеченного королевского финиша. Неплохая мысль. Но испанский король все равно был раздосадован, хотя и не считал нужным объяснять причину недовольства. В знак траура он приказал разрушить трибуны, на которых должен был разместиться весь высший свет Испании. Запретил на трое суток, начиная с заката, музыку и танцы. Вместе с приготовленным волшебным сиянием электрических ламп исчезли голубые шатры. Кто-то в черном стер сделанные мелом надписи на большой информационной доске, превратив победные имена и правдивые цифры хронометров в летучую белую пыль, осевшую на земле, на руках, на одежде. Я выслушал новость с улыбкой, склонив голову. Из уважения к этому столу я запретил своим официантам снимать белые перчатки. В подобных случаях – а они возможны – со стола нужно убирать в следующем порядке: хрусталь, приборы, посуда, салфетки. И уж потом вазы с цветами. Дальше мы поднимем огромную, как парус, скатерть фламандского полотна и сложим ее в семь раз по складкам, еще помнящим жар утюга. Так замкнется круг несвершившихся событий, заключающий в себе жизненно важную для нас и для нашего дела тайну, глубокий смысл всего происходящего. Я медленно пойду домой: прямая спина, в зубах сигарета. Главное, я могу поручиться, что пыли на хрустале моих бокалов нет и не будет. Впрочем, и это никому, кроме меня, знать необязательно. Ночью я долго буду ворочаться без сна на потной простыне. Да хранит меня Бог от одиночества. Почему, доченька, ты танцуешь одна на пустынном помосте этой неудавшейся ночью, среди исчезнувших кавалеров и воображаемых вздохов? В каком медленном ритме должно биться твое большое гордое сердце, чтобы всегда непростительно отставать? Они не станут ждать, пока ты расцветешь во всем своем блеске, и мое сокровище, моя гордость умрет в нужде. Да будет мягким наказание за их слепоту. И да пребудет с нами ангел-хранитель наших одиночеств. Оставшиеся автомобили отбуксировали на станцию, где погрузили на железнодорожные платформы и отправили малой скоростью в Париж.

Детство Последнего

Его называли Последним, потому что он был первый ребенок.

– ...И Последний, – заявила мать, едва успев прийти в себя после родов.

Так он стал Последним.

Сначала казалось, что сам он об этом не знал, да и знать не хотел. За первые четыре года жизни он переболел всеми возможными болезнями. Его крестили трижды: у священника рука не поднималась соборовать малыша, смотревшего на него своими беззащитными глазенками, а уйти, не совершив никакого таинства, он не мог, так что всякий раз оставался один выбор – крещение.

– Это ему не повредит.

Что правда, то правда: Последний продолжал жить – маленький, тощий, бледный как смерть, но живой. Он живучий, говорил отец. Живучий, как кошка, говорила мать.

Итак, он продолжал жить, и жил уже целых семь лет и четыре месяца, когда в ноябре 1904 года отец привел его в хлев, показал на двадцать шесть коров, составлявших все его богатство, и, предупредив, чтобы он пока ничего не говорил матери, сообщил, что скоро они раз и навсегда избавятся от этой горы дерьма.

Он торжественно обвел рукой хлев, темный и вонючий. Потом медленно произнес:

– Гараж Либеро Парри.

Либеро Парри – его имя. Гараж – французское слово, которое Последний никогда не слышал. Должно быть, это что-то вроде «скотного двора» или, скорее, «молочной фермы», была его первая мысль. Только он не понял, что здесь было такого удивительного.

– Будем чинить автомашины, – поспешил уточнить отец.

Вот это и впрямь было удивительно.

– Их же еще нет, автомашин, – заметила мать, когда однажды вечером, лежа рядом с ней в темноте, муж наконец поведал ей о своем решении.

– Это вопрос времени. Несколько месяцев – и они появятся, – заверил Либеро Парри, залезая рукой под ее ночную рубашку.

– Ты забыл про ребенка.

– Не беспокойся, он всему научится и будет работать со мной.

– Ты забыл про ребенка. Убери руку.

– Ах да. – Либеро Парри вспомнил, что зимой они все спят в одной комнате, экономя дрова.

Они немного полежали в тишине. Потом муж продолжил:

– Я разговаривал с Последним. Он согласен.

– Согласен?

– Да.

– Ему только семь лет, он весит двадцать один килограмм, и у него астма. Он еще маленький.

– Маленький, да удаленький. Забыла, что он у нас особенный?

Родители считали Последнего особенным ребенком. Из-за всех его болезней и разных других вещей, которые трудно объяснить.

– Может, тебе лучше поговорить с Тари́ном?

– Боюсь, он не поймет. Тарин такой же, как все: в голове одна земля, земля да скотина.

Он скажет, что я спятил.

– Наверно, он будет прав.

– Нет, не будет.

– Почему ты так думаешь?

– Потому что он из Треццате.

Это был неоспоримый аргумент.

– Тогда поговори со священником.

Если Либеро Парри не был атеистом и социалистом, так только из-за нехватки времени. Найдись у него час-другой, чтобы узнать, зачем люди становятся социалистами, он бы тут же к ним присоединился. Но священников он все равно ненавидел.

– Еще какие-нибудь советы будут?

– Я пошутила.

– Пошутила, говоришь? Не ври.

– Клянусь! – И рука жены оказалась в трусах мужа. Жена была большая любительница этого дела.

– Ребенок, – пробормотал Либеро Парри.

– А ты лежи тихо, – посоветовала она.

Ее звали Флоранс. Отец ее был французом и долгие годы ездил по Италии, продавая женские туфли собственного изобретения. На самом деле это были обыкновенные туфли, только к ним при необходимости можно было пристегивать и отстегивать каблук с помощью простейшей системы креплений. Главное достоинство таких туфель состояло в том, что вместо одной пары женщина получала две – повседневную и выходную. На его изобретение, если верить ему, никто не жаловался. Однажды он побывал во Флоренции и остался навсегда ею очарован. В ее честь он назвал свою первую дочь. Впрочем, немало времени он провел и в Риме: поэтому сына, родившегося год спустя, называли Ромео. Потом начался период увлечения Шекспиром – последовали Джульетты, Ричарды и другие носители шекспировских имен. Очень важно понять, по какому принципу люди дают имена. Умирать и давать имена – вот, может быть, то небольшое, что они умеют делать по-настоящему *искренне*.

Флоранс перешла к финалу, скользнув под одеяло и подключив к делу рот. Вообще-то, считалось, что жене не подобает выполнять свой супружеский долг таким образом, но коль скоро в тех краях этот способ называли «любовью по-французски», она, как дочь француза, имела на него полное право.

– Я тихо лежал? – переведя дух, спросил Либеро Парри.

– Не знаю, вроде бы тихо.

– Надеюсь.

Но Последний все равно ничего бы не услышал, поскольку, хоть он и лежал в той же комнате, мысли его были на дороге, ведущей к реке, там, где они с отцом в ожидании стояли позапрошлой зимой. Раннее утро. Под настойчивыми лучами солнца еще потрескивает на полях ночной иней. Он взял из дома яблоко и теперь рукавом пальто натирает его до блеска. Отец курит и что-то тихо напевает. Они пешком дошли от дома до развилки, откуда начинается дорога на Рабелло, и теперь ждут.

– Куда ты его ведешь? – спросила мама.

– Это наше дело, мужское, – ответил Либеро Парри, своим ответом избавив сына от вопросов, потому что, если тебе пять лет и отец берет тебя с собой, да еще с такими словами, ты просто счастлив, и все. Понятно, что Последний бежал за ним вприпрыжку всю дорогу до развилки на Рабелло. Тогда он и не думал, что, став взрослым, будет сотни раз вспоминать эту картину: отец широко шагает впереди, навстречу утреннему туману, *даже не оглядываясь*, чтобы проверить, где он, не отстал ли.

Своей суровостью, полным отсутствием каких-либо сомнений отец показал ему тогда, что значит быть отцом: это значит уметь шагать никогда не оглядываясь. Идти широким шагом взрослых, шагом безжалостным и в то же время четким и ровным, чтобы твой сын мог приноровиться к нему и поспевать за тобой, перебирая своими детскими ножками. И

при этом не оглядываться, если хватит силы воли: тогда он будет уверен, что не потеряется, будет знать, что идти вместе – это судьба, а с судьбой, известное дело, не спорят.

Вдруг Последний увидел вдалеке облако пыли. Отец ничего не сказал, только бросил сигарету на землю и положил ему руку на плечо. Облако двигалось со стороны Рабелло, повторяя все изгибы дороги. Вместе с ним приближался дьявольский шум, подобного которому Последний никогда не слышал: так могло грохотать разве что какое-нибудь железное чудовище. Сначала он увидел большущие колеса и огромный осклабившийся радиатор. Потом человека с глазами гигантского насекомого, который сидел высоко-высоко, окутанный пылью. Сопровождаемое все нарастающим грохотом железных внутренностей, непонятное чудовище с невероятной скоростью приближалось к ним. Это было пугающее зрелище, и Последний, возможно, почувствовал его связь со своим будущим, когда понял, что в мыслях, в сердце, в жилах нет и тени страха, только непреодолимое желание, чтобы его самого как можно скорее поглотило это облако пыли, которое, спускаясь с холма, мчит к ним, стоящим у развилки: наверху невозмутимо сидит человек-насекомое, колеса подпрыгивают на ухабах, словно потерявший управление паром на крутых волнах, но парому всё нипочем, и вот уже он, исторгая из своих недр железный лязг, достигает развилки и, мгновенно сориентировавшись, как бы расчленяет дорогу поворотом резиновых колес вправо. Последний чувствует, как рука отца сжимает его плечо, и видит, как мужчина наверху клонится набок, но руль не отпускает, – словно он подчинил себе этого огромного яростного зверя силой лишь одного движения, и мальчик завидовал ему, он будто ощущал себя на его месте: словно ему всегда было знакомо это напряжение рук, наклон дороги, невидимая сила, толкающая тебя, ветер, который бьет в лицо. Наконец огромный зверь был вынужден поменять направление и, гордо проскользив мимо, прямо перед их глазами грациозно развернулся, и они увидели другую фигуру – фигуру женщины, которую раньше не заметили, – она сидела в углублении между металлическими ребрами зверя, словно королева на троне, на голове у нее была большая красная шляпа с шифоновой лентой янтарного цвета, завязанной под подбородком. Он навсегда запомнил эту женщину, ее склоненную набок голову, как будто она подражала изгибу дороги; ее поза, вторя виртуозному мастерству гонщика, восхищала своим благородством и утонченным скептицизмом.

Повернув на юг, зверь оказался на своем новом пути и устремился к реке; вскоре он исчез из виду, поглощенный пылью. Последний и его отец стояли на месте, не двигаясь, вслушиваясь в звуки металлического оркестра, затихающие между тополями и готовые через мгновение исчезнуть. Висевший в воздухе запах полю не принадлежал – он останется с ними на долгие годы, запах, к которому привыкнут их женщины и даже полюбят его.

Либеро Парри подождал, пока пыль не уляжется и не станет тихо. Потом предупредил: – Маме ни слова.

– Ясное дело, – согласился Последний.

Он только что увидел свой первый в жизни автомобиль. И даже больше – он увидел его в действии, на *повороте*, увидел, как тот подчиняется чужой воле: еще одна причина безумной страсти, которой этот мальчик, став взрослым, посвятит почти всю жизнь.

Он снова увидел тот поворачивающий с лязгом автомобиль, во сне, когда заснул в темноте, в нескольких метрах от кровати родителей, где они только что занимались любовью *по-французски*. Он не слышал их тихого смеха, не видел отца, вставшего с кровати, чтобы взять что-то в другом конце комнаты. Отец вернулся, держа в руках зажженную свечу и листок бумаги. На листке было написано, что граф Палестро покупает его двадцать шесть коров за довольно большие деньги – шестнадцать тысяч лир. Флоранс Парри взяла расписку и прочитала. Задула свечу.

Они неподвижно лежали рядом под одеялом.

Сердце Либеро Парри часто билось.

Наконец она заговорила:

– Либери, ты даже не знаешь, как они устроены, эти автомобили.

Он был к этому готов.

– Этого не знает никто, малышка.

Книга, по которой Либери Парри и Последний изучали, как устроены автомобили, была на французском («Mécanique de l'automobile»⁷, издательство «Шевалье»). Это объясняет, почему в первое время, когда не удавалось разобраться, в чем дело, лежа под четырехцилиндровым «клеман-байяром» или склонившись над двигателем «фиата» в двадцать четыре лошадиные силы, Либери Парри оказывался в тупике и просил сына:

– Позови маму.

Флоранс приходила, держа в руках мокрое белье или сковородку. Книгу она перевела до последнего слова и знала ее наизусть. Ей достаточно было услышать, в чем проблема, как она, даже не удостоив взглядом автомобиль, тут же вспоминала нужную страницу и ставила диагноз. Потом поворачивалась и несла домой белье. Или сковородку.

– Мерси, – бормотал Либери Парри, восхищаясь ею и одновременно злясь на себя. Вскоре из бывшего хлева, а ныне – гаража-мастерской, доносился рокот воскрешенного мотора.

Так они и жили.

Но автомобили тогда случались довольно редко, и в первые годы мастерской Либери Парри, чтобы продолжать свое существование, приходилось ремонтировать всё без разбора: от тележных рессор до чугунных печек и даже часов. Вдобавок, учитывая большой спрос, Либери Парри брался еще и подковывать лошадей; любой другой воспринял бы это как крушение надежд и унижение, но только не он, прочитавший где-то, что те, кто первыми сколотили состояние на производстве огнестрельного оружия, начинали сковки клинков для мечей. Дело в том, что – как не переставала время от времени напоминать Флоранс – автомашин еще не было, точнее, если даже и были, то производились они не в их краях. Так что неожиданное появление на горизонте спасительного облака пыли, сопровождаемое звуками металлического оркестра, насмешливо приветствовала вся округа. Это происходило достаточно редко, но если все же происходило, Либери Парри садился на велосипед и ехал за сыном в школу. Он заходил в класс, держа шляпу в руке, и произносил всего два слова:

– Непредвиденные обстоятельства.

Учительница уже привыкла. Последний пулей вылетал из класса, и через полчаса оба, вымазанные машинным маслом, терялись в догадках под крышкой капота весом с годовалого теленка.

Это были трудные годы, когда приходилось экономить на всем и дожидаться облака пыли, которое никак не появлялось. Все, что можно было продать, уже продали, и в конце концов у Либери Парри не осталось другого выхода: он повязал галстук и отправился к директору банка. Непредвиденные обстоятельства, сказал он, держа шляпу в руке. Жители тех мест были известны своей болезненной гордостью: когда мужчина шел в банк, держа шляпу в руке, женщины, остававшиеся дома, прятали подальше охотничье ружье, чтобы не искушать судьбу. В итоге Либери Парри заложил и дом вместе с коровником, но даже в этот день по нему было видно, что он уверен в своих силах. За ужином он все время шутил и смеялся. Он знал, что будущее наступит и что он единственный, кто может его не бояться. Потому что у него в мастерской стояли двадцать пять бидонов с бензином, а больше ни у кого на сто километров вокруг бензина не было. Потому что он единственный во всей округе знал, что такое карданный привод и как починить бронзовый вкладыш подшипника. Но, что

⁷ «Механика автомобиля» (фр.).

бы ни говорили, он был первым из шести поколений рода Парри, чьи руки не пахли хлебом и коровами. Поэтому тем вечером он ужинал с особым аппетитом. И даже съел две тарелки макарон. Наевшись, он, довольный, вышел во двор, сел на стул и стал раскачиваться на нем, глядя на закат. Он был не один – из Треццате приехал его друг Тарин. Приехал повидаться – на всякий случай. О походе в банк не было сказано ни слова. Казалось, что Либеро Парри занимали совсем другие мысли.

– Чувствуешь? – неожиданно произнес он, с наслаждением вдыхая вечерний воздух.

– Чувствую что? – не понял Тарин.

– Запах навоза, – пояснил Либеро Парри, нарочито шумно втягивая воздух.

– Но здесь не пахнет навозом.

– Вот именно! – победоносно заключил Либеро Парри.

Именно этот запах он ненавидел больше всего на свете.

Вечером, с размаху опустившись на постель, он тут же подпрыгнул как ужаленный.

– Это что еще за фокусы?

Жена встала, молча вытащила из-под матраса охотничье ружье и отнесла его на место. Когда она вернулась и забралась под одеяло, Либеро Парри размахивал газетой.

– Ты просто не хочешь ничего понимать. Вот, смотри! – он протянул газету Флоранс. Она прочитала, что три итальянца – Луиджи Бардзини, Сципион Боргезе и Этторе Гуиццарди – делали на автомобиле путь в шестнадцать тысяч километров от Пекина до Парижа. На своей «итале», с двигателем в сорок пять лошадиных сил и весом в тысячу триста килограммов, они проехали полмира, и для этого им хватило шестидесяти дней.

– Надо же, а я и не видела, как они проезжали, – сказала прагматичная Флоранс.

– Зато я видел, – уверенно буркнул Либеро Парри.

Да, он их видел. Каждую минуту своей жизни он видел их и свято верил в это. Они ехали, покрытые пылью, и приветливо махали всем рукой, рукой в перчатке.

Будущее пришло к ним в тысяча девятьсот одиннадцатом году, дождливым мартовским вечером. Пришло пешком. Либеро Парри увидел его издалека. Длинный плащ, поднятые на лоб огромные очки, которые он сразу узнал, и кожаный шлем. Не хватало только автомобиля.

– Наконец-то, – шепнул он Последнему, выправлявшему восьмерку на велосипедном колесе. Во избежание недоразумений он спрятал молочный бидон, в котором заделывал дырку, и сел возле аккуратно сложенных старых шин, купленных недавно у военных в Брандате. Они создавали нужное впечатление.

Человек в плаще медленно приближался. От дождя его защищал большой зеленый зонт, придавая ему вид фантастического видения. При желании в нем можно было увидеть что-то пророческое. Он остановился перед мастерской и какое-то время неподвижно стоял, глядя на мальчика и велосипед. Потом прочитал вывеску. Медленно, будто расшифровывал древние письма. Наконец перевел взгляд на Последнего.

– У вас правда есть бензин?

Последний повернулся к отцу. Либеро Парри делал вид, что пересчитывает шины.

– Правда, – ответил он тоном человека, уставшего все время отвечать на один и тот же вопрос.

Мужчина в плаще закрыл зонт и зашел под навес.

Остановившись около сложенных шин, он некоторое время смотрел на затопленные поля вокруг. Потом повернулся к Либеро Парри.

– Не хочу показаться невежливым, но на кой хрен было открывать мастерскую посреди этого болота?

– Я рассчитываю на идиотов, у которых закончится бензин на полпути.

Мужчина с интересом взглянул на Либеро Парри, словно только сейчас его увидел. Снял перчатку и протянул руку.

– Граф Д’Амброзио. Очень приятно. Не думайте, я не такой идиот, каким кажусь.

– Либеро Парри. Приятно познакомиться. Я так и не думал.

– Вот и хорошо.

– Вот и хорошо.

Спустя годы в газетах их фамилии появятся рядом, как бы образуя одну: Д’Амброзио Парри. Но пока ни тот ни другой и предположить такого не могли. Все только начиналось.

– У вас правда есть бензин?

– Сколько угодно.

– А горячая ванна?

Кончилось тем, что граф устроился у очага на кухне, чтобы обсохнуть. Когда пришло время ужинать, Флоранс поставила на стол еще одну тарелку, и за едой хозяин и гость не могли наговориться. Разговор шел о двигателях на метане, о туринском заводе и о том, как варить телячью голову. Захмелев от вина, они перешли на андалузских женщин, от которых пахло французскими духами. Кто-то из них не удержался и рассказал анекдот про короля, воспользовавшись тем, что Последний вышел за чем-то в комнату.

Было уже совсем темно, когда Д’Амброзио наконец решил, что ему пора. Надел плащ, кожаный шлем, положил очки в карман, театральным жестом натянул перчатки и открыл дверь. Ветер унес дождь с собой, и ночь казалась неправдоподобно черной.

– Какая красота! – Д’Амброзио, стоя на пороге, вдохнул колючий воздух, отвесил поклон и, не проронив более ни слова, гордым шагом удалился в том направлении, откуда пришел. Мгновение – и его поглотила тьма.

Либеро Парри закрыл дверь и вместе с Флоранс и Последним вернулся за стол. Они еще немного посидели, гоня щелчками крошки по синим и белым клеткам скатерти.

– Мясо ты вкусное сварила, – сказал Либеро Парри, чтобы выиграть время.

– Ему вроде бы тоже понравилось.

– Он даже зонтик забыл, – заметил Последний.

Либеро Парри неопределенно махнул рукой, – дескать, дался вам этот граф! Не прошло и минуты, как в дверь постучали.

Граф Д’Амброзио, казалось, еще больше повеселел.

– Простите, что докучаю такими мелочами, но мне сдается, что я приехал на автомобиле.

Либеро Парри напомнил ему о том, что он не только интересовался бензином, но и пил вино.

– Я вам верю, все так и было, – признал граф. А потом сказал, что его и кресло вполне устроит. Проблем со сном у него никогда не было.

Его положили в комнате Последнего, постелив ему на раскладушке, которая давно уже пылилась в подвале. Прежде чем потушить свечу, Д’Амброзио на всякий случай предупредил:

– Не обращай внимания, если я буду разговаривать во сне. Обычно ничего интересного я не рассказываю.

Последний успокоил его: ничего страшного, он и сам иногда разговаривает во сне.

– Тебе повезло. Женщинам это нравится.

Потом граф невнятно пробормотал еще что-то про деревенскую тишину и задул свечу. Последний гадал, должен ли он желать гостю спокойной ночи, когда услышал скрип и понял, что граф приподнялся на локте: что-то его беспокоило.

– Ты спишь?

– Нет.

- Можно тебя спросить?
- Да.
- Как думаешь, твой отец сумасшедший?
- Нет, синьор.
- Правильно, парень.

Последний услышал, как граф снова упал на раскладушку: если у него и были какие-то сомнения, то теперь от них и следа не осталось.

- Спокойной ночи, синьор.

В ответ – тишина.

И только через некоторое время Д'Амброзио пробормотал:

- Я уж и не помню, когда мне последний раз желали спокойной ночи.

Назавтра было воскресенье. Залив полный бак, граф Д'Амброзио решил, что такое ясное утро идеально подходит для урока вождения. Сидя на шинах, Последний увидел, как отец надел очки и взялся за руль. Эта картина была ему хорошо знакома, только раньше сразу после этого отец начинал рычать, подражая звуку мотора, и подпрыгивал на стуле, как на ухабах; на самом деле воображаемый автомобиль стоял на месте. Сегодня же все было по-настоящему. Либеро Парри слушал рекомендации графа, уставившись в невидимую точку прямо перед собой. Потом он задал графу вопрос – какой именно, Последний не расслышал.

- Чушь собачья! – возмущенно воскликнул граф, но при этом улыбнулся.

Некоторое время картина не менялась. Либеро Парри был все так же прикован взглядом к невидимой точке впереди. Руки, вцепившиеся в руль, напряжены. Настоящая статуя. Стоя в дверях с зарезанной курицей в руке, Флоранс покачала головой.

- Сколько времени он у вас уже не дышит.

Последний не успел ответить: послышался металлический щелчок, и красавец-автомобиль мягко тронулся с места, будто бильярдный шар, покотившийся по наклонному столу. Либеро Парри выехал на дорогу, словно делал это каждый день, и медленно двинулся по ней. Последний увидел облако пыли, поднимавшееся куполом над полями, и на мгновение почувствовал, что с таким отцом ему нечего бояться в жизни, ведь его отец – бог.

Они стояли молча, пока рокот двигателя не стих вдалеке. И тут Последний спросил:

- Он же вернется?
- Если научится поворачивать...

После они узнали, что Либеро Парри взбрело в голову доехать до деревни, и, несмотря на протесты графа, он пересек ее на довольно высокой скорости, при этом выкрикивая что-то бессвязное, упоминая коров, директора банка, а заодно, кажется, и пастырей.

- Нет, пастырей я не трогал.
- Странно, могу поклясться, что я слышал именно слово «пастыри».
- Пастбища, я сказал – пастбища.
- Дерьмовые пастбища?
- Навоз, я имел в виду навоз на пастбищах.
- А-а, ясно.
- Ладно, граф, тебе этого не понять.
- Они перешли на «ты». Но все равно называли друг друга по фамилии.
- Ты молодец, Парри. Справился.
- У меня был хороший учитель.

Все бы на этом и закончилось, но тут граф сообразил, что в этом маленьком утреннем уроке чего-то не хватает, какой-то мелочи. Он обернулся и увидел глаза Последнего, в которых застыло ожидание. Казалось, оно было здесь всегда, с доисторических времен. Его взгляд парил над ворчаньем еще работающего мотора.

– Хочешь покататься, парень?

Последний улыбнулся и посмотрел на отца. Тот – на Флоранс. Она поправила выбившуюся прядь и решила за сына:

– Хочет.

Мальчик забрался в машину, а чтобы сидеть выше, подсунул под себя сжатые в кулаки руки.

– Куда поедет? Хочешь, промчимся мимо школы, выкрикивая «училка-сучилка»?

– Нет, лучше поедет на горку Пьяссебене.

Горка Пьяссебене представляла собой непонятного происхождения холм посреди равнины. Никто точно не знал, что под ним, но поле, растянувшееся на километры, ровное, как бильярдный стол, в этом месте образовывало горб, после чего возвращалось к своей привычной форме. Дорога делала то же самое. Всякий раз, как Последний с отцом подходили к горке, обычно они пускались наперегонки вверх по склону и, добежав до вершины, устремлялись прыжками вниз, навстречу бескрайней равнине, выкрикивая свои имена. А затем молча, как ни в чем не бывало, возвращались к размеренному шагу простых деревенских жителей.

– Едет на горку Тассабене.

– Пьяссебене.

– Пьяссебене.

– Прямо туда.

Граф Д'Амброзио переключил скорость, спрашивая себя, что же в этом пареньке необычного. Он вспомнил вчерашний день, дождь, мальчика, склонившегося над велосипедом под вывеской «Гараж»: как ни парадоксально, главной фигурой в этом земном уголке *был именно он*; все остальное погрязло в прошлом. Вдруг графу вспомнилось, где он уже видел нечто подобное – на картинах, изображавших жития святых. Или Христа. На них всегда было много людей, поглощенных какими-то странными занятиями, но *святой* выделялся из этой толпы, его не надо было искать, взгляд сразу же останавливался на нем. Или на Христе. Может, я везу по сельской дороге младенца Иисуса, подумал он, усмехнувшись, и повернулся к нему. Последний смотрел прямо перед собой: пыль и ветер были ему нипочем, взгляд спокойный – сама серьезность. Не поворачивая головы, он громко произнес:

– Если можно, быстрее.

Граф вновь сосредоточился на дороге и увидел впереди пригорок – странное своей неожиданностью возвышение среди лениво раскинувшегося поля. В иных обстоятельствах он бы сбавил скорость и, сдерживая мощь автомобиля, подчинился бы воле вздыбившейся земли. Каково же было его изумление, когда вместо этого он неожиданно прибавил газу, словно мальчишка.

На вершине холма металлическое чудовище весом в девятьсот тридцать один килограмм оторвалось от земли с изяществом, которое трудно было в нем предполагать, – не иначе как врожденным. Граф Д'Амброзио услышал рычание мотора в пустоте и уловил во вращении потерявших опору колес шелест крыльев. Еще крепче стиснув руками руль, он вскрикнул от неожиданности, а мальчик не только не испугался, но и огласил окрестности восторженным «Ай да я! Ай да...» – дальше следовало имя.

А если точнее – имя и фамилия.

Либеро Парри пришлось запрягать повозку, чтобы взять машину на буксир и, дотавив до мастерской, возиться потом с ней целую неделю. Летать она летала, и летала хорошо. Правда, в результате она слегка подражала.

Когда граф Д'Амброзио вернулся за ней в следующее воскресенье, она выглядела как новенькая. Отполировать ее Либеро Парри помог многолетний опыт тщательной чистки коров до блеска для ежегодной ярмарки рогатого скота. Граф восхищенно присвистнул – этот

свист был знаком половине борделей Европы. Потом достал коричневую кожаную сумку и протянул ее Либери Парри.

– Открой.

Либери Парри открыл сумку. Внутри лежали очки, кожаный шлем, перчатки, яркий шелковый платок и куртка с пришитой эмблемой: Д'Амброзио Парри.

– Что это значит?

– Ты когда-нибудь слышал об автомобильных гонках?

Либери Парри слышал. Развлечение для богатых.

– Я ищу механика, который будет ездить вместе со мной. Что ты об этом думаешь?

Либери Парри громко сглотнул.

– Нет у меня на это времени. Я работать должен.

– Сорок лир в день, плюс все расходы и четверть от призовых.

– Призовых?

– Если выиграем.

– Если выиграем.

– Ну да.

В ту же минуту оба одновременно повернулись к двери, привлеченные каким-то шумом. Дверь распахнута, на пороге никого. Пока они смотрели в сторону двери, будто ожидая чего-то, в дверном проеме, стараясь не рассыпать охапку хвороста, которая была у него в руках, промелькнул Последний. Их он даже не заметил.

– А что скажет Флоранс и кто сообщит ей эту новость?

Казалось, граф не слышал вопроса.

– В этом парнишке что-то есть.

– В ком? В Последнем?

– Да.

– Ничего в нем нет.

– Нет, есть.

Либери Парри смущенно потупился, словно его подловили на карточном шулерстве.

– В нем нет ничего особенного, если... Если не считать золотую тень.

– Ты о чем?

– Так говорят в наших краях. Бывают люди, у которых тень золотая, вот и все.

– А что это значит?

– Трудно сказать... Они не такие, как все, и это сразу видно. Людям нравятся те, у кого золотая тень.

Ответ явно не удовлетворил графа. Либери Парри решил продолжить объяснение:

– Он два или три раза отдавал Богу душу. Когда он был маленький, все считали, что он не жилец, но каждый раз ему удавалось выкарабкаться. Кто знает, может, это меняет человека.

Графу Д'Амброзио вспомнилась единственная женщина, которую он когда-либо любил больше тенниса и автомобилей. Когда ты заходил в комнату, полную людей, то сразу *чувствовал*, там ли она: для этого необязательно было видеть ее или знать, что ее здесь не может быть. В театре не нужно было специально искать ее глазами: первое, что ты видел, – это она. Ее нельзя было назвать красавицей. Трудно даже сказать, была ли она по-настоящему умна. Но *она* излучала свет, *она* всегда была в центре кадра. Теперь он понял: золотая тень – это и про нее.

– Флоранс я беру на себя.

Либери Парри рассмеялся.

– Ты ее не знаешь.

– Дай мне минутку, и я ее уговорю.

Граф Д'Амброзио провел с Флоранс десять минут, сидя за столом в кухне. Он рассказал, что такое гонки, где они проходят и зачем.

– Нет, – ответила она.

Тогда он поведал о денежных призах, о толпах зрителей и о путешествиях.

– Нет, – ответила она.

Последовало объяснение, какую известность гонки обеспечивают в деловом мире. При этом граф заверил ее, что через несколько месяцев перед их мастерской автомобили будут выстраиваться в очередь.

– Нет, – ответила она.

– Почему?

– Мой муж мечтатель. И вы тоже. Очнитесь.

Граф Д'Амброзио задумался. Потом произнес:

– Я вам кое-что расскажу, Флоранс. Мой отец был очень богатым человеком, гораздо богаче меня. Но его богатство сожрала безумная мечта, связанная с железными дорогами. Он помешался на поездах и всё спустил. Когда он начал распродавать имущество, я спросил мать: почему ты его не остановишь? Мне было шестнадцать лет. Мать дала мне пощечину. А потом произнесла фразу, которую вы, Флоранс, должны навсегда запомнить. Она сказала: если ты любишь кого-то, кто любит тебя, никогда не разрушай его мечты. Самая большая и затаенная мечта твоего отца – это ты.

Не дожидаясь ответа, он вежливо попрощался и вышел во двор. Либеро Парри выправлял молотком радиатор, который нашел несколько месяцев назад на обочине дороги, ведущей в Пьядене. Из него мог получиться отличный навес для поленицы.

– Все в порядке! – доложил граф, потирая руки.

– Что она ответила?

– Она ответила «нет».

– А-а!

– Пробег начинается в следующее воскресенье, Венеция – Брешиа. – И он направился к автомобилю.

– Но она же сказала «нет»...

– Сказала «нет», а подумала «да», – возразил граф, успевший сделать уже несколько шагов.

– А ты откуда знаешь?

– Откуда я знаю?

– Да.

Граф Д'Амброзио остановился. Несколько секунд он искал ответ. Но не нашел. Обернулся. И оказался лицом к лицу с Флоранс. Бог знает, откуда она появилась. Она говорила тихо – так, чтобы ее слышал только он. Говорила с легким нажимом.

– Ничего ваш отец не спустил, он один из самых богатых людей в Италии, и, думаю, на железные дороги ему всегда было плевать. Что до вашей матери, то она никогда вас не била, я уверена.

Флоранс помолчала.

– Признаю, про мечты у вас неплохо получилось, но так бывает только в книгах, в жизни так не бывает. Жизнь, к сожалению, гораздо сложнее, поверьте.

Д'Амброзио кивнул: дескать, он верит.

– Вообще-то, вы правы. Я сказала «нет», но подумала «да». Причину я вам не скажу. И знаете, я даже себе не хочу ее говорить, так лучше для всех.

Граф улыбнулся.

– Только верните мне его живым и невредимым. Мне дела нет, выиграете вы или проиграете. Главное – привезите его домой живым и невредимым. Спасибо.

Она развернулась и пошла к дому. Глядя ей вслед, граф впервые подумал, что она красива. Поход к портному ей бы явно не повредил; но то, что она красивая женщина, это бесспорно.

– Ну как? – громко спросил Либеро Парри.

Граф неопределенно махнул рукой – жест, который мог означать все что угодно.

Пробег Венеция – Брешиа. Три четверти пути они преодолели на хорошей скорости, а при въезде в деревню под названием Палу граф остановился на обочине и заглушил мотор.

– Есть тут одно местечко, где готовят такое жаркое из кролика, что пальчики оближешь.

Вскоре Либеро Парри узнал, что повариха имеет дополнительный доход, предоставляя комнату наверху желающим, по ее словам, немного отдохнуть с дороги. В результате граф немного отдохнул. Тогда как Либеро ограничился кроликом, который и правда оказался довольно вкусным.

– Мне-то что, свои деньги я все равно получу, – сказал он, садясь в автомобиль. – Но что я расскажу Последнему?

Граф не ответил. Через некоторое время ему удалось сесть на хвост «пежо» Альберто Кампоса, аргентинца, не проигравшего ни одной гонки за пять месяцев и одиннадцать дней; Д'Амброзио держался за ним до тех пор, пока под проливным дождем не обошел его справа, поразив местных жителей, которые вспоминают этот обгон по сей день.

– Вот это и расскажешь, – пробормотал он, вылезая из машины, что казалась изваянной из грязи.

В Турин они пришли третьими, в Анкону – восьмыми, а на сицилийских горах неожиданно оказались первыми. В газетах появился снимок, на котором они напоминали двух гигантских насекомых. И подпись: *Д'Амброзио Парри, отважные покорители горного серпантина Колле-Тарсо*. Последний вырезал фотографию и повесил над кроватью. По вечерам он разглядывал ее и пытался представить, что же такое *горный серпантин*. Он склонялся к мысли, что это какой-то дикий зверь с длинной шерстью, который переваливается на ходу с боку на бок. Обитает такой зверь в горах на высоте не меньше тысячи метров. Если он голодный, живым от него не уйти. Однажды Либеро Парри взял лист бумаги и нарисовал его для сына. Он изобразил гору и поднимающуюся на вершину – виток за витком – дорогу. Рисунок несколько не разочаровал Последнего, напротив – заморозил его. Для ребенка, выросшего среди полей, где горка Пьяссебене – единственное, что нарушает ровную линию горизонта, дорога, ползущая в гору с невозмутимостью огромной змеи, – это нечто совершенно невозобразимое. Он провел пальцем по ее изгибам – снизу доверху.

– С другой стороны то же самое, только дорога ведет вниз, – объяснил Либеро Парри.

Палец Последнего съехал вниз. После чего сын спросил, можно ли ему еще раз проделать тот же путь – только теперь уже без остановки – с начала до конца.

– Можно.

На этот раз он изображал рев мотора и визг тормозов. И наклонялся то вправо, то влево, подчиняясь петляющей дороге: центробежная сила вдавливала ягодицы в сиденье, рукам передавались резкие, как удары хлыста, заносы. За всю жизнь он проехал на автомобиле километра четыре, но эти ощущения *уже знал*. Истинный талант – знать ответы на еще не возникшие вопросы.

Близ Ливорно, поднимаясь в гору, Д'Амброзио не смог вписаться в поворот и сломал запястье. О дальнейшем участии в гонках не могло быть и речи. Но как-то в воскресенье они все отправились в Мантую – туда приехал сам Лафонтен, великий гонщик. Это был первый и единственный пробег, который когда-либо видел Последний.

Вопреки ожиданиям, Флоранс решила присоединиться к ним.

– Если уж смотреть на гонки, так хоть на те, где умирают другие, а не вы двое.

Графу удалось добыть места на трибуне прямо у финиша, где их соседями оказались дамы в огромных шляпах и дети в курточках с золотыми пуговицами. Либери Парри, нарядившийся в клетчатую рубашку и по такому торжественному случаю зачесавший волосы назад, поднимаясь на трибуну, уже вспотел от напряжения. Сперва он молчал, недовольно ерзая на сиденье, потом принялся ворчать, что ему ничего не видно. Наконец схватил Последнего за руку и улизнул вместе с ним, оставив Флоранс в обществе графа, объяснявшего ей смысл и правила автомобильных гонок. Они двинулись по тропинке в сторону домов, потом наугад по городским улицам и вышли к реке. Проселочная дорога, тянувшаяся на многие километры вдоль воды, в этом месте резко сворачивала направо, в сторону моста, и за ним, на другом берегу плавно продолжала свой путь мимо городской стены.

– Вот где и впрямь будет на что посмотреть, – решил Либери Парри.

Он начал проталкиваться сквозь толпу, но все его усилия приблизиться к дороге оказались напрасны. Пришлось дать денег сапожнику, чья мастерская была в двух шагах от моста, и за пять лир они получили два стула и пояс из телячьей кожи для Флоранс.

– Ремень-то паршивый! – возмутился Последний.

– Не важно, залезай лучше на стул.

Последний взглянул на газету, которой сапожник аккуратно застелил сиденье плетеного стула, – не каждый день приходится вставать ногами на изображение короля и прусского посла. Но, забравшись наверх, он забыл обо всем: перед его глазами оказались залитые ярким солнечным светом мост и белая извилистая лента дороги в форме буквы «S», словно подарок Создателя, нарисованный специально для его детских глаз.

– Какая красота!

Только дорога и мост, автомобилей и близко не видать, но он выдохнул: Какая красота! Не замечая ничего вокруг, мальчик видел лишь грунтовую дорогу в форме буквы «S», начертанной уверенной рукой художника на полотне земли. Люди, яркие цвета, река, выстроившиеся в ряд деревья – все это было не более чем временной помехой. Звуки и запахи, словно далекое эхо, с трудом доходили до его сознания. Он видел только след танцующего карандаша, больше ничего: завиток и еще один, напротив – квинтэссенция всех знаний о геометрии, которые наконец, после тысяч ошибок, обрели здесь свое совершенство. Толпа беспокойно зашевелилась – появились автомобили; Последний их сначала даже не заметил, поглощенный созерцанием дороги; она дышала в ритме металлических монстров, она как бы поглощала их, одного за другим, вбирая их бешеную скорость, чтобы подчинить ее своей неподвижности – порядок взамен хаоса, закономерность вместо случайности, русло для реки, число для бесконечности. Королевы-автомашины, побежденные, исчезали, испарялись в облаках пыли.

В сознание ребенка, способное принять как аксиому, что автомобили подчиняются дороге, а не наоборот, уже было вписано его будущее. Интересно, как люди становятся самими собой раньше, чем понимают это.

Вдруг отец заметил вдалеке женскую фигурку, семенившую вдоль дороги, на которой должны были вот-вот появиться гоночные машины; она высматривала кого-то в толпе, не думая об опасности.

– Как туда занесло Флоранс?

Забыв обо всем, Либери Парри опрометью кинулся ей навстречу, расталкивая людей локтями. Последний соскочил со стула и бросился за ним. Они оказались около Флоранс в тот момент, когда в двух шагах от нее промчался двадцать первый номер – Ботеро на «ланче».

– Ты что, спятила?!

Флоранс была вся в пыли. Она позволила увести себя, тихая и послушная, как никогда. Когда муж попытался выяснить, что она забыла на трассе, жена ответила:

– Ничего. Я просто хотела быть рядом с тобой.

Лицо ее еще хранило тень пережитого ужаса.

Когда все закончилось и люди стали расходиться по домам, граф провел их в зону, отведенную для гонщиков: там пили шампанское и можно было увидеть автомобили вблизи. Звучала в основном французская речь. Либеро Парри встал в углу, держа Флоранс за руку и издали наблюдая за Последним, решившим похвастаться «фиат» Бартеза. Время от времени мимо проходили знакомые механики, которые приветственно махали ему рукой. В ответ Парри слегка кивал. Сам не зная почему, он с нетерпением ждал, когда же наконец сможет уйти. Вдруг он увидел Лафонтена, который величественно шагнул к выходу, погруженный в свои мысли: глаза опущены, губы сжаты, усики подкручены кверху. Все расступались, освобождая ему путь – ведь он был лучшим. Он все еще не снял кожаный шлем и небрежно, даже с некоторой досадой, держал под мышкой только что завоеванный кубок. Либеро Парри никогда раньше не видел Лафонтена, но знал о нем все, вплоть до рассказов о том, что ночью он ездит с выключенными фарами, чтобы, по его словам, пугать врагов и не мешать луне. Парри собрался шагнуть вперед, пожать ему руку – тогда бы этот странный день обрел наконец какой-то смысл, но тут Лафонтен поднял глаза, повернулся и поприветствовал мальчишку, шутливо подняв руку к несуществующему козырьку. Потом приблизился к замершему ребенку, который не отрывал от него взгляда. Сел перед ним на корточки и что-то сказал.

Либеро Парри толкнул локтем Флоранс, указывая на них.

– Твой сын, – сказал он с таким видом, будто это было обычное дело.

– А кто это на корточках?

– Лафонтен.

– Лафонтен? Лучший гонщик?

– Он самый.

– А Последний об этом знает?

Либеро Парри пожал плечами. Его сын в это время с детской непосредственностью тыкал пальцем во что-то на голове Лафонтена. Лафонтен засмеялся и снял свои огромные очки, надетые поверх кожаного шлема. Рукавом протер их от пыли. И протянул Последнему. Тот взял очки и улыбнулся. Лафонтен поднялся, погладил еще раз мальчика по голове, сказал ему что-то и, полный царственного достоинства, проследовал дальше. Глядя в пол. Он прошел прямо перед Либеро Парри, но тот не двинулся с места, неожиданно для себя отказавшись от желания пожать гонщику руку.

Вечером, когда они вернулись домой, Последний повесил очки на стену, у изголовья кровати, рядом с фотографией Д'Амброзио Парри на Колле-Тарсо.

– Вообще-то, я хотел кожаный шлем, а не очки. Но он не понял.

– Не повезло тебе, – посочувствовал ему Либеро Парри.

Сезон гонок закончился в начале октября, с первой грязью на дорогах. Либеро Парри удалось добыть немного денег, чтобы решить проблемы с банком, но очереди перед мастерской все не было.

– Беда в том, что мы на отшибе, – объяснил он Флоранс.

В глубине души он уже начинал сомневаться, что сделал правильный выбор. Участвуя в гонках и исколесив всю Италию, он понял, что многие мечтают об автомобилях, но мало у кого они есть. Машины все еще оставались игрушками для богатых, у которых времени хоть отбавляй. Работать механиком все равно что торговать теннисными ракетками. Наверно, будущее потерялось где-то по дороге, думал Либеро Парри через семь лет после превращения коровника в автомастерскую.

Должен же в мире найтись хоть один человек, который мог в этом разобраться: Либеро Парри решил, что таким человеком был синьор Гардини, гениальный лигуриец, еще в начале

века сообразивший, как и сам Парри, что будущее за автомобилями. Вместе с двумя братьями он арендовал ангар на окраине Турина, где начал претворять в жизнь свои идеи, на первый взгляд казавшиеся фантастическими, но на самом деле далеко не безумными. После семи месяцев довольно успешного производства велосипедов на свет появился автомобиль новой блестящей конструкции. Когда пришло время выбирать для него имя, Гардини остановился на «итале». Ему не нравилось, что слово «автомобиль» мужского рода, и он предпочитал называть свое детище автомашиной. У него были на то основания: он представлял себе что-то покорное, подчиняющееся приказам и раскрывающее всю свою красоту только в опытных руках гонщика. Будучи отпетым маскилистом, как и все в ту пору, он не сомневался: машина может быть только женщиной. И назвал свое изобретение «италой». Пожалуй, единственное, что люди умеют делать *искренне*, так это умирать и давать имена.

Либеро Парри влюбился в «италу» еще во время пробега Пекин – Париж: созданная синьором Гардини специально для этих гонок, она утерла нос конструкторам всего мира, придя к финишу первой, чего от нее никто не ожидал. Он не забыл, как, размахивая газетой, доказывал Флоранс, что автомобили не только существуют, но и гоняют по всему свету. Либеро Парри помнил, что она ответила ему тогда, но все равно он мучительно тосковал по тем временам. Через несколько лет, на финише одной гонки – это было недалеко от Римини, граф показал на элегантно одетого худощавого господина и сказал, что это и есть тот самый Гардини, создатель «италы». Либеро Парри подошел к нему, поздоровался, и они разговорились. Гардини понравилась история про двадцать шесть коров.

– Если будете в Турине – заходите, я буду рад, – предложил он на прощание.

– Я, пожалуй, съезжу к синьору Гардини, – объявил Либеро Парри жене, когда они пришли на кладбище в день поминовения.

– Кто это?

Он объяснил.

– А зачем тебе к нему ехать?

Парри ответил, что хочет у него кое-что спросить. Это была чистая правда. Он уже подготовил вопрос, лаконичный и предельно простой, – он же понимал, что у промышленных магнатов нет лишнего времени, так что надо сразу излагать суть дела. Вопрос звучал так:

– Синьор Гардини, скажите честно: купить мне опять двадцать шесть коров или не надо?

От Флоранс истинную цель поездки он скрыл и сказал, решив не вдаваться в подробности, что хочет посоветоваться по поводу новых моделей.

– Почему бы тебе не взять с собой Последнего? – спросила она, не обратив особого внимания на историю про новые модели.

Мысль взять с собой сына не приходила ему в голову. Проблема была в деньгах. Либеро Парри вырос в мире, где и отцы-то не ездили в город, что уж говорить о детях.

– Покажешь ему Турин. Он будет в восторге.

Она была права. Оставалась все та же проблема – деньги. Но Флоранс была совершенно права.

Они отправились в путь двадцать первого ноября тысяча девятьсот одиннадцатого года, на повозке Тарина. Потом они собирались попросить кого-нибудь подбросить их до города. В крайнем случае, всегда можно поехать на поезде. У них был один чемодан на двоих, купленный специально для этой поездки. Последний взял с собой очки Лафонтена. В свои четырнадцать лет тощий подросток выглядел едва ли не первокласником, и вот ему предстояло увидеть Турин.

Флоранс прощалась с ними так, будто они уезжали по меньшей мере в Америку. Она заставила мужа взять с собой банку домашнего томатного соуса. Нельзя же явиться к синьору Гардини с пустыми руками. Но у нее на уме было еще кое-что.

– Раз уж ты к нему едешь, задай ему вопрос и от меня, – попросила Флоранс, обнимая мужа.

– Какой?

– Спроси, не считает ли он, что нам снова надо купить двадцать шесть коров?

В этот миг Парри неожиданно для себя понял очень многое про семейную жизнь.

– Я спрошу, – серьезно ответил он.

У секретарши синьора Гардини была деревянная нога и забавный дефект речи: довольно необычные особенности для секретарши. Она встретила их с деланой любезностью и спросила, договаривались ли они о встрече.

– Синьор Гардини приглашал меня заходить к нему, если буду в Турине, – ответил Либери Парри, представившись.

– Да?

– Да.

– А когда это было? Когда именно? – Она не выговаривала двойные согласные.

– Вроде бы в июле... да, точно, в июле. Это было в окрестностях Римини.

– И синьор Гардини приглашал вас заходить к нему?

– Именно так.

На мгновение секретарша застыла, глядя в пустоту, – казалось, что у нее выпала пломба.

Потом сказала:

– Подождите, пожалуйста.

И исчезла за дверью.

Либери Парри знал, что делал. Он прекрасно понимал, что любая попытка договориться о встрече с Гардини закончилась бы ничем. Так что он заранее разработал план. Первая часть заключалась в исполнении роли деревенского дурачка. Вторая должна была начаться после того, как секретарша три часа будет ходить туда и обратно, все время извиняясь, с просьбами подождать еще немного: возможно, синьор Гардини сможет уделить им минутку.

Возможно? Либери Парри поднялся. Он терпеть не мог использовать этот трюк и обычно обходился без него. Но сейчас выбора не было: вопрос жизни и смерти.

– Я выйду на минутку, – предупредил он Последнего. – Сиди здесь и никуда не уходи. Я скоро вернусь. Держи.

Последний взял банку с домашним соусом и поставил рядом с собой.

– Ладно.

Либери Парри вышел на улицу и медленно направился к По. На берегу он сел на скамейку и долго смотрел на холмы за рекой. От них веяло богатством и элегантностью. Когда пришло время обеда, он нашел скромный трактирчик, где готовили довольно вкусный овощной суп и необычный десерт из каштанов. Он поел, закурил сигарету и разговорился с почтальоном-анархистом, назвавшим своих детей Свобода, Равенство и Братство. Красивые имена, сказал Либери Парри. Он на самом деле так думал. Было уже три часа дня, когда он вновь явился к одноногой секретарше. Она посмотрела на него с улыбкой и, не переставая улыбаться, решила обрадовать его:

– Ваш сын у синьора Гардини.

– Я знаю, – спокойно ответил Либери Парри.

Секретарша проводила его в заводской цех, где Гардини и Последний склонились над двигателем, изучая систему смазки.

– Пришел отец мальчика, синьор Парри, – сообщила секретарша, выделив в фамилии «Парри» двойное «р» – наверно, единственную двойную согласную, которую ей удавалось выговаривать правильно.

По лицу Гардини было видно, что он тщетно пытается вспомнить лицо посетителя. Но когда Либери Парри повторил историю про двадцать шесть коров, он наконец начал что-то понимать. И сделался приветливым и симпатичным, как его английский костюм спортивного покроя.

– Я как раз показывал вашему сыну систему, которую французам никак не удастся повторить.

Он устроил экскурсию по заводу, занявшую добрых два часа. Гардини тут был как дома. Казалось невероятным, что он смог поднять всё с нуля. Только здесь работало около двухсот человек. Гардини знал каждого по имени и со всеми здоровался. И знакомил с ними Парри: тот широко улыбался, пытаясь скрыть чувство сострадания. Ведь на взгляд того, кто родился крестьянином, у рабочего не больше свободы, чем у собаки на цепи. Обход завода закончился в цеху, напоминавшем портняжный, – там шили кожаные сиденья и откидные крышки. Наконец они вышли во двор, где выстроились в ряд сверкающие автомобили: их ожидало будущее, полное пыли и шампанского. Либери Парри неожиданно вспомнил, почему он, собственно, здесь оказался. И нашел в себе смелость попросить синьора Гардини уделить ему несколько секунд для разговора: он должен задать синьору Гардини один вопрос.

– Давайте тогда вернемся в мой кабинет, – радушно предложил Гардини, решив, что день для него все равно уже потерян.

Последний с ними не пошел. Он сел на плетеный диван и принялся разглядывать секретаршу. Неожиданно он спросил:

– А почему у вас нога деревянная?

Секретарша подняла глаза от письма, которое она переписывала. Инстинктивно положила руку на колено. И ответила спокойно и мягко, сама себе удивляясь. Сказала, что попала под машину у себя в городке. Виноват дождь.

– «Итала»? – спросил Последний.

Секретарша улыбнулась.

– Нет.

Но тут же поняла, что этого ответа недостаточно.

– За рулем был брат синьора Гардини.

– А-а, ясно.

Потом он спросил, правда ли, что иногда нога чешется, как настоящая. На глаза секретарши навернулись слезы. Три года люди при встрече хотели задать ей этот вопрос, и только сейчас кто-то впервые решился спросить. Словно гора с плеч свалилась.

– Совершенная брехня. Бессмыслица.

Они засмеялись.

– Совершенная брехня. Бессмыслица, – повторил Последний, потому что эти слова так долго ждали своего часа и теперь заслуживали столько двойных согласных, сколько хотели.

Либери Парри вышел из кабинета Гардини, когда уже давно стемнело. Мужчины энергично пожали друг другу руки, что говорило о многом. Они бы еще и обнялись, если б не были северянами, стесняющимися собственных порывов. Гардини пожал руку и Последнему.

– Удачи тебе, мальчик.

– И вам, синьор.

– Помни, с автомобилями нужно быть осторожным. Они могут и навредить.

– Знаю, синьор.

– Все будет хорошо.

– Да.

– Надеюсь через несколько лет увидеть тебя за рулем «италы», когда ты станешь чемпионом Италии.

– Я мечтаю не об этом, синьор.

Гардини недоуменно пожал плечами: ответ мальчика застал его врасплох.

– Не об этом? А о чем же?

Последнему было нелегко ответить на такой вопрос. Многому он еще не мог дать имени. Как лесным букашкам, которых раньше никогда не видел.

– Не знаю, синьор, мне трудно объяснить.

– Попробуй.

Последний задумался.

Потом рукой нарисовал в воздухе нечто извилистое.

– Дороги, – сказал он. – Мне нравятся дороги.

И больше не добавил ни слова.

Они с отцом ушли, держась за руки. Секретарша проводила их до двери и, стоя на пороге, помахала им, когда они, перейдя улицу, обернулись.

Тот вечер Последний запомнил навсегда. Отец пребывал в эйфории: синьор Гардини сказал, что ответа на вопрос Парри у него нет, зато есть совет. И предложение.

– Там, где вы живете, синьор Парри, автомобили появятся нескоро. К тому времени мы с вами уже будем лежать в могиле. Послушайте меня: в ваших краях нужно не это.

– Значит, коровы? – вздохнул пессимист Либери Парри.

– Нет. Грузовики, – ответил синьор Гардини и пояснил: – Автомобили для работы, фургоны, машины для обработки земли. Знаю, это не так романтично, зато можно неплохо заработать.

И добавил, что в том районе у него как раз нет своего человека, который продавал бы его грузовики.

– Грузовики «итала»? – с трудом выговорил Парри: в этом словосочетании ему слышалось богохульство.

– Точно.

Через полчаса он стал единственным уполномоченным представителем «Италы» по продаже грузовиков в радиусе трехсот километров от своего дома. Подписав контракт, предложенный ему синьором Гардини, он отчетливо почувствовал, что отныне запах навоза навсегда покинул его жизнь.

Они с Последним шагали к центру города, решив отпраздновать это событие; теперь дела пойдут на лад. Оказавшись на огромной площади, они приняли ее за Дворцовую и потратили много времени на поиски самого дворца. И конечно, не нашли, потому что его там не было; зато наткнулись на ресторанчик, где предлагали ассорти из отварного мяса и хорошее вино. Последний еще ни разу в жизни не был в ресторане. Отец объяснил ему, что крестьяне обычно в рестораны не ходят. И, добавив: «В отличие от уполномоченных представителей „Италы“», решительно толкнул деревянную дверь. Створка задела колокольчик, в звоне которого Последнему послышался оттенок греховности, с которым впоследствии не мог сравниться для него ни один бордель. Они сели за столик. Ощущение скованности прошло после третьего стакана вина. Официантка была из их краев и включить в счет пирожные «забыла». Когда они выходили, их шаги были шагами танцоров аргентинского танго, а звяканье дверного колокольчика – праздничным перезвоном колоколов. Город исчез: его поглотил привычный для них туман. Но то, что в темноте родных полей казалось всего лишь черным молоком, здесь превращалось в королевскую мантию, вздутую дыханием уличных

фонарей и подсвеченную горящими глазами автомобилей. Поднятые воротники, руки в карманах – они шли, подчиняясь мучительно правильной планировке города, где все выверено с геометрической точностью, словно в ожидании момента, который никогда не наступит, когда этот порядок наконец-то будет нарушен. Они медленно шли, вдыхая туман. Либеро Парри ударился в воспоминания. Голос его звучал грустно – сказывалось выпитое вино. Он слышал шаги сына рядом, и слова были для него попыткой продлить это мгновение и эту близость. Он принялся рассказывать о своей матери, которую Последний никогда не видел; о том, как она колола орехи, о ее странных фантазиях на тему Страшного суда. О том дне, когда она отправилась вылавливать мужа из реки, и еще об одном – когда решила больше никогда не спать. Он говорил о том, что к дому вели две дороги, но только на одной из них чувствовался запах ежевики, всегда, даже зимой. Она была намного длиннее, но его отец всегда ходил этой дорогой, как бы ни устал, каким бы неудачным ни был день. Либеро Парри объяснил сыну, что никто не должен считать себя одиноким: в каждом из нас течет кровь предков, и так будет до конца времен. Мы являемся лишь излучиной реки, текущей издалека, которая не высохнет после нашей смерти. Теперь, например, мы говорим об автомобилях так, будто они существовали всегда. Брат его отца не обрабатывал землю; породившая их женщина сбежала с фокусником, до сих пор оставшимся в памяти жителей деревни благодаря тому, что привез туда первый велосипед. Иногда мы только доделываем чью-то незаконченную работу. Или принимаемся за работу, которую другие закончат за нас. Либеро Парри говорил об этом, продолжая шагать, хотя давно уже перестал понимать, куда он, собственно, идет. Ноги сами вели его, и он невольно принялся кружить вокруг одного и того же квартала, будто неведомая сила – порождение тумана – в какой-то момент запретила ему переходить улицу. Даже не замечая этого, он все время поворачивал налево, огибая здания, словно плыл по течению, словно нашел укрытие для своих слов. После первого круга Последний неожиданно оказался перед витриной, которую уже видел и не ожидал, что увидит еще раз. Это его очень удивило. Они шли, не разбирая дороги, подобно заплутавшим, но город, как собака-поводырь, вновь привел их на то же место. Пока Либеро Парри разглагольствовал о крови и о земле, мальчик, идя следом, пытался понять, что же все-таки произошло и почему отец так разволновался из-за какого-то, в общем, пустяка. Может, дело в тумане или в рассказах отца, но ему в голову пришла мысль, что если продолжать кружить вот так часами, то в конце концов они *исчезнут*. Их поглотят собственные шаги. Потому что обычно путь – это сложение шагов, между тем как их ходьба была вычитанием и шаги периодически заканчивались нулем. Стоило понять это, как их прогулка представилась ему прогулкой шиворот-навыворот. И впервые, хоть и смутно, он ощутил, что всякое движение ведет к неподвижности и что вся прелесть в движении ради самого движения.

Через несколько лет, стоя на чужой земле, перед уходящей вдаль взлетно-посадочной полосой, Последний вспомнит это ощущение, и оно поможет ему составить осознанный план своей будущей жизни. Вот почему ему никогда не удалось забыть тот туман и город, упорядоченный до абсурда. Однажды, когда он уже стал взрослым и жил один, ему в голову пришла мысль вернуться туда, но что-то помешало, и он об этом не жалел. А впрочем, он и теперь был бы рад вновь оказаться на том месте, где его отец, после сорокаминутного наматывания кругов (всего их было одиннадцать), вдруг остановился и, подняв голову, задал великолепный вопрос:

– Где мы, черт возьми?

На этот вопрос не было ответа, объяснял потом Последний Елизавете. И в этом вся прелесть. Где может быть тот, кто час ходил вокруг одного и того же квартала? Подумай. Ответа нет.

И не было, подумала Елизавета, потому что люди всегда ходят по кругу, и дело только в слишком плотном тумане наших страхов.

Они выехали из Турина на рассвете, переночевав в гостинице под названием «Дезео». В переводе с испанского – «желание». Но хозяйка испанкой не была. Она оказалась из Фриули. А звали ее Фаустина Дезео.

– Куда же подевалась вся романтика? – посетовал Либеро Парри.

По дороге домой, в поезде, он попытался продать цистерну «Итала» владельцу молочной фермы из южного Венето. Просто так, не всерьез, чтобы потренироваться. Запомнить, что именно надо говорить.

Когда молочник заявил, что он согласен и покупает цистерну, у Либеро Парри что-то шевельнулось внутри. Так бывает, когда выходишь из дому и обнаруживаешь, что зима уже кончилась.

Последний отрезок пути – от станции до дома – они проделали пешком, потому что предупредить Тарина не удалось. Дул холодный ветер, который развеял туман, и поля сверкали в лучах вечернего солнца. Отец и сын молча шагали друг за другом. Либеро Парри время от времени напевал «Марсельезу». Только слова были на диалекте, и говорилось в них совсем о другом. Выйдя из тополиной рощи, они увидели свой дом, одинокий, как забытая шляпа, посреди родного поля. Во дворе, перед мастерской, стоял красный автомобиль, а в нескольких метрах от него, как лакей, застыл высокий стройный мотоциклет.

– Видишь, вот и очередь! – восторженно воскликнул Либеро Парри.

Но радость оказалась преждевременной. В доме на диване как убитый спал граф.

– Он привез новый автомобиль, чтобы показать тебе, – пояснила Флоранс.

На ней было бежевое платье – такие в деревнях не носили.

– Граф подарил. Уговорил меня принять подарок.

– Ты прекрасна, – сказал Либеро Парри. Он действительно так думал.

Они обнялись, как двое юных влюбленных.

Оставалось объяснить появление мотоциклета, с чего и начал граф, едва проснувшись.

Взял Последнего за руку, вывел во двор и объявил:

– Он твой.

Последний не понял.

– Это мотоциклет, – уточнил граф.

– Я знаю.

– Это подарок.

– Кому?

– Тебе.

– Вы с ума сошли.

Так считала и Флоранс. Того же мнения был и Либеро Парри.

– Ты сошел с ума.

Но граф не сошел с ума. В свои тридцать шесть лет он не знал, зачем живет, но сумасшедшим определенно не был. Он существовал в мире, лишенном иллюзий, где право на полную свободу – привилегия, за которую каждый день приходится платить предчувствием неизбежного наказания, зная, что рано или поздно застигнет тебя врасплох. Единственное, в чем он достиг почти мистического совершенства, – это в умении отодвинуть неминуемый апокалипсис бесконечной чередой пустых и бессмысленных, но красивых жестов. Эту его способность называли роскошью. У графа Д'Амброзио своих детей не было: сам он их иметь не хотел, да и к чужим питал отвращение, считая их до смешного ненужными, ибо они лишены будущего. Ему нравились женщины, он даже чуть не женился на одной, чтобы не осложнять себе жизнь. Но любил он только своих собак, и больше никого. Однажды случай забросил его в нелепую мастерскую, затерявшуюся в полях. Все, с чем он там столкнулся, было как путешествие в другой мир, где вещи еще имели смысл, а за словами что-то сто-

яло; там каждый день неведомая сила отделяла правду от лжи, словно зерна от плевел. Он не делал никаких выводов, даже не подумал отнестись к происходящему как к уроку, который мог его чему-то научить, – такая мысль ему и в голову не пришла. Всего этого он был лишен, и ничто не могло изменить хода вещей. Но время от времени он ездил через поля к мастерской Парри – и это стало для него своеобразным обезболивающим от всеобщего безумия. Граф выбрал правильную линию поведения, чтобы стать своим в этом мире, и его приняли как иммигранта, немного эксцентричного, но заслуживающего сострадания. Он не желал причинить им зло, но не был достаточно честен с собой, чтобы понять, что это зло неизбежно. Он просто хотел быть с ними. И ради этого ни один дар не мог считаться безрассудством или безумием, не говоря уж о каком-то мотоцикле.

– Сколько он весит? – спросил Либеро Парри, подумав о сыне и его сорока двух килограммах.

– Если сесть на него и давить на газ, то нисколько.

Как-то раз, несколько дней спустя, Флоранс взглянула на поле, ожидая увидеть его спокойным и неподвижным, как всегда, но вместо этого стала свидетелем неожиданного появления зверя со стальным сердцем, нарушавшим все банальные законы физики, когда он ложился на бок в каком-то невообразимом положении, обозначая поворот дороги, что вел к реке. Над спиной зверя парило легкое тело подростка: казалось, кто-то положил мокрую тряпку сушиться на солнце. Флоранс вскрикнула; вскрикнула как мать, потому что видела своего сына, летевшего над землей, а летать она его никогда не учила. Но мотоцикл выровнялся, принимая приглашение вновь распрямившейся дороги, и, вопреки ожиданиям, тряпка не взметнулась в воздух, а лишь немного приподнялась, поймав встречный ветер, уверенно и спокойно: мальчик на мгновение убрал руку с руля, ей почудилось, будто он приветственно помахал. У Флоранс от страха подкосились ноги, и она упала на колени. На глаза навернулись слезы, она больше не вглядывалась в поле и не смотрела на сына; опустив голову, она сосредоточилась на ощущении бесконечности внутри нее, как обычно поступают все взрослые, когда вдруг перестают понимать, что происходит вокруг. Флоранс хотела бы знать, куда направляется ее сын верхом на мотоцикле и как далеко его занесет от родной земли. Ей бы доставила радость уверенность, что она появилась на свет, чтобы своими глазами увидеть парящего в воздухе сына или прочитать в газетах имя мужа. Ей бы доставила радость уверенность, что запах бензина так же чист, как запах поля, и что будущее следует воспринимать как должное, а не как предательство. Она должна была знать: беспокойные ночи, проведенные в воспоминаниях о поцелуях графа, – это наказание за смертный грех или награда за то, что она нашла в себе смелость жить. Коленопреклоненная, посреди поля, она бы с благодарностью узнала, что непорочна. Так же, как все, испокон веков.

Последний остановил мотоцикл прямо перед матерью. Он не понимал, что могло с ней случиться. Заглушил мотор и снял очки. И стоял, не зная, что сказать. Наконец произнес:

– Я сам не смогу поставить его на подножку.

Флоранс посмотрела на него. Провела рукой перед глазами. Почувствовала, что темнота исчезла. И ответила:

– Я тебе помогу.

Она улыбалась.

Где ты, сердце мое, легкое и молодое, куда ты исчезло?

– Я тебе помогу, чудо ты мое.

Для Последнего детство закончилось в одно апрельское воскресенье тысяча девятьсот двенадцатого года и ни днем раньше, потому что некоторым удается растянуть детство аж до пятнадцати лет, и он был из таких. Тут нужны неординарность и удача. У него было и то и другое.

В тот день в деревне показывали кино. Его привез зять мэра, Бортолацци, который торговал постельным бельем и разъезжал по всей Италии. Связь между ним и кино была очевидна: экраном могла служить только хорошая простыня. Была и неочевидная связь: в Милане у Бортолацци жила любовница, работавшая билетершей в кинотеатре «Люкс», поэтому он себя считал причастным к миру кино. Радуюсь возможности удивить всех и предчувствуя будущую прибыль, он погрузил в свой фургончик проекционный аппарат, коробки с кинолентами и торжественно привез в родную деревню. Фургончик у него был «фиат», одна из первых моделей. В фильме действовал Мачисте⁸.

Флоранс и слышать о кино не хотела, а Либеро Парри участвовал в гонках неподалеку, вместе с графом, – так что в кино Последний отправился один. Он смутно представлял себе, что это такое, и не ожидал ничего особенного; но высоко в небе сияло солнце, и мысль о прогулке до самой деревни и о встрече с друзьями, за которыми он должен был зайти по дороге, радовала его. Матери он сказал, что вернется к ужину, – чтобы не волновалась.

Зал мэрии заставили стульями. На дальней стене аккуратно, без единой складки, натянули простыню. Бортолацци, не будь дурак, решил устроить перед показом небольшое представление, объявив о распродаже его товара по сниженным ценам. Когда Последний вошел с друзьями в зал, Бортолацци жестом фокусника менял на подушке наволочку, попутно рассказывая что-то об английском хлопке. Дело он свое знал, но никто все равно ничего не купил – отчасти из принципа, но скорее потому, что не было денег, да и простыни люди не выбирали, даже после того, как на них умирали старики. Постирают хорошенько – и вперед.

Последний с друзьями протискивались между стульями в поисках свободных мест. Наконец пристроились на ящиках, поставленных в глубине зала по приказу мэра, – своеобразная галерка. Если оглянуться, можно было увидеть неподалеку стол из церкви, на котором стоял, сверкая эмалью, огромный аппарат; мужчина в шляпе сосредоточенно смазывал его маслом, как хирург во время операции. Последнему это очень понравилось, потому что напомнило его мотоциклет: тут были даже колеса, только располагались они как-то странно. Можно сказать, что проекционный аппарат был похож на мотоциклет после аварии. Собравшиеся радостно захлопали в ладоши, когда Бортолацци наконец решил свернуть торговлю и перейти к показу фильма. Он хотел было прочитать небольшую вступительную лекцию, начав с того, что кинематограф – это изобретение века, но его слова заглушил дружный свист. Все же он успел объявить, что некоторые сцены могут заставить сердца местных зрителей «мучительно сжиматься», после чего Последний и его друзья завyli от притворного страха, и многие в зале также стали подвывать. Бортолацци закончил тем, что рад видеть столько зрителей, и поблагодарил фирму «Белое крыло» за предоставленную возможность показать им фильм. Владелец этой фирмы был не кто иной, как он сам. То, что последовало дальше, целиком и полностью соответствовало тогдашним представлениям о культуре в тех краях. Поднялся священник и прочитал вместе со всеми молитву на латыни во славу Богородицы. Благословил затем зал и экран. Все обнажили и склонили головы. Сумасшедший дом!

Свет еще не успели погасить, когда Последний увидел ее – самую прекрасную женщину из всех, кого он когда-либо встречал; ей заняли место, и она, извиняясь с очаровательной улыбкой, пробиравась к нему. Оставленный для нее свободный стул оказался прямо перед ящиком, на котором устроился Последний. Прежде чем сесть рядом с мужчиной, занявшим для нее место, она задержала взгляд на незнакомом пареньке – дело, конечно же, было в золотой тени – и, сама не зная почему, слегка кивнула ему и сказала: «Привет». Внутри у Последнего все похолодело, как будто в жилах не осталось ни капли крови. Женщина отвернулась и села. Едва заметным движением она сбросила с плеч шаль, позволив ей соскользнуть на спинку стула. На ней было платье, оставлявшее плечи и руки обнажен-

⁸ Мачисте – добродушный силач, персонаж фильма Д. Пастроне «Кабирия» (1914).

ными, – в деревне о таком только слышали, но никогда не видели. Возникал вопрос, как же оно держится: без бретелек, без ничего. Последний не сразу позволил себе подумать про грудь, предположить, что все держится на ней. У него перехватило дыхание. Он попробовал смотреть по сторонам, чтобы прийти в себя, но взгляд сам по себе возвращался к тонкой шее, которую волосы, собранные на затылке, оставляли открытой, – само совершенство. Только несколько небрежно спадающих прядей приглушали ослепительное сияние. Последний почувствовал на губах тепло, которое эта кожа, казалось, может вернуть в ответ на легкое касание поцелуем. А когда выключили свет, он даже не услышал восторженного рева и аплодисментов, которыми зрители выражали свой восторг. И не поднял глаза, как все остальные, на простыню из запасов Бортолацци, оживленную картинками неожиданных миров. Мальчик не отрывал взгляда от темного силуэта, вырисовывавшегося на фоне экрана: от правого уха женщины вниз, вдоль шеи, потом немного вверх, вдоль плеча, и дальше вниз, к локтю, после чего исчезал в полумраке. Вот что должно было заставить сердце «мучительно сжиматься», и Последний тогда впервые понял, насколько мучительным может быть желание, если оно вызвано женским телом. Это даже испугало его. Возможно, поэтому он медленно, переводя взгляд вверх и вниз по темному контуру без единой неровности, принялся освобождать его от всего, что было в нем женского, приближаясь к потаенной красоте, где кожа становилась простой линией, а тело – выгравированным на мерцающем экране. Это немного успокаивало Последнего, потому что с такой красотой он уже был знаком. Последний забыл о женщине и отдался другому совершенству, продолжая следить за чистой линией и выгравированным контуром до тех пор, пока они не стали траекторией, потом чертежом и, наконец, дорогой. Теперь он знал, что делать, он был в своей стихии. Мальчик спускался вдоль шеи, поворачивал налево, прибавлял газу на подъеме, дальше прямо, на вершине плеча притормаживал, кренился вправо и, теряя равновесие, скользил по мягкой линии руки. Сначала он делал все это мысленно, примеряясь, потом начал чувствовать телом дорогу и потихоньку стал голосом имитировать рев мотора. То, как при этом он подергивал лобком, могло выглядеть, мягко говоря, неприличным. Но разве он виноват, что мотоциклетом в первую очередь управляет задница? Эта аналогия лишний раз открывала бесконечные возможности владения собственным телом, подтверждая, что не самая инстинктивная является одновременно самой устойчивой. Он, который никогда бы не осмелился дотронуться до этого плеча, сейчас следовал по нему, открывая все его тайны, одну за одной. Там, в окружении людей, между ними была такая близость, которой утонченный любовник добивался бы несколько месяцев.

Это кажется невероятным, но женщина подняла руку и коснулась пальцами плеча, словно что-то стряхивая с него.

Тогда и закончилось детство Последнего. Но дело было не в волшебстве того необъяснимого жеста. Детство закончилось, когда кто-то начал громко звать его. Голос принадлежал Тарину. Мальчик повернулся, остановив мотоциклет, и увидел, что Тарин действительно ищет его, пробираясь между рядами. Боясь помешать кому-нибудь, он сгубался в три погибели и шепотом звал его. Последний встал и, извиняясь, стал выбираться из своего ряда.

– Последний!

– Что случилось?

– Беги скорее домой.

– В чем дело?

– Беги домой, Последний.

– Но я смотрю кино, – возразил мальчик, хотя так и не увидел ни одного кадра из фильма.

– Мать сказала, чтобы ты срочно бежал домой.

– В чем дело?

По лицу Тарина было видно, что он знает причину, но не находит слов, чтобы объяснить ее.

– Прошу тебя, иди. Быстрее!

Последний пулей вылетел из мэрии. Вот и дорога к дому: сначала он бежал, потом шел, и вновь пускался бегом, когда дорога поворачивала. На поворотах он наклонялся вбок, изображая губами гул мотора. Он ни о чем не думал. О чем он мог думать?

Когда мальчик увидел свой дом, то остановился. Около мастерской стояли люди, много людей. Их соседи с ближайших ферм. Кого-то из них он вообще не знал. Некоторое время он просто стоял и ждал. Он не был уверен, что хочет идти туда. Но его заметили, и выбора больше не было.

Его привели к двери дома. Дверь была закрыта.

– Она всем запретила входить, – объяснили ему.

Он постучал.

– Мама, это я, Последний.

В ответ тишина.

Последний нажал на ручку и осторожно толкнул дверь. Вошел и бесшумно закрыл за собой дверь.

Флоранс стояла в углу комнаты, прислонившись к стене. Как животное, чувствующее себя защищенным только в своей норе. Она плакала.

Последний приблизился. Обнял ее. Сначала она никак не отреагировала, а потом начала бить его кулаками в грудь. Удары становились все чаще и сильнее. Он ждал, когда Флоранс устанет и позволит обнять себя. Казалось, что она ничего не весит, что она есть и ее нет.

– Где папа?

Она не могла выговорить ни слова.

– Он жив?

Флоранс кивнула в ответ.

– Все будет хорошо, мам.

Она опять кивнула.

– Что произошло?

Флоранс сказала что-то о загоревшемся автомобиле.

– Где папа сейчас?

– В городе. В больнице.

– Надо ехать к нему.

Но она даже не пошевелилась.

– Мама, я должен поехать к нему.

– Да.

– Все будет хорошо.

– Да.

Последний подумал об отце и не смог представить его на больничной койке. Легче было представить его обуглившимся в охваченном пламенем автомобиле, чем на белоснежной больничной койке. Этого просто не могло быть. Но вышло именно так, и это значит, что мир не подчиняется никаким законам и что жизнь снова, уже который раз, загнала их в тупик.

– Позволь им войти. Они только хотят помочь.

Флоранс не пошевелилась.

– Иди, сядь.

Он взял ее за руку и отвел к одному из стульев, стоявших вокруг стола. Заставил сесть. Она сжимала носовой платок. Сжимала так сильно, что даже пальцы побелели. Последний

вспомнил, какой сильной всегда была мать, и спросил себя: что же должно было произойти, чтобы сломать такую женщину, как она? Он наклонился, чтобы поцеловать ее в лоб.

– Думаю, будет лучше, если я поеду к папе в больницу.

– Да.

– Я потом вернусь.

– Да.

Впервые она подняла глаза и поймала взгляд сына.

– Передай ему, что он не может так со мной поступить.

В голосе еще слышалась та твердость, которая всегда была ей присуща. Последний улыбнулся.

– Я передам.

Он направился к двери. Прежде чем выйти, обернулся еще раз и спросил:

– А что с графом?

Флоранс слегка поморщилась. Потом медленно сказала:

– Ему не повезло.

И через мгновение продолжила:

– Граф погиб.

Она произнесла эти слова совершенно спокойно. Тогда Последний понял, что у матери было два сердца и в тот день оба были смертельно ранены.

Он вышел из дома, оставив дверь открытой. Выслушал рассказы о том, что произошло. Якобы машина выкинула фокус на прямой вдоль реки – врезалась в платан и загорелась. Графа зажало внутри. А Либеро Парри вылетел из автомобиля и теперь лежал в больнице – перелом на переломе. Врачи не были уверены, что смогут спасти его. Они сомневались, доживет ли он до ночи. «Доживет: видно, что выносливый», – сказал кто-то.

Последний посмотрел на небо: хотелось успеть в город до темноты. Когда Баретти предложил довезти его на своей подводе, мальчик отказался: нет, спасибо, сам доеду. И пошел за мотоциклетом. Все видели, как он надел очки Лафонтена и сунул под свитер газету, чтоб не продуло. Кто-то похлопал его по спине. Люди смотрели на него, и у них сжималось сердце. Но в его движениях появилась мужская уверенность, и никто не решился остановить его. Будь осторожен, сказала какая-то женщина.

Дорога в город пролегла стрелой среди полей. Смеркалось, тени удлинялись, становилось прохладно. Последний ехал на предельной скорости, склонившись над мотоциклетом, – им было о чем поговорить, и мальчик хотел, чтобы тот все хорошо расслышал. Он говорил, что должен успеть раньше смерти и это ему удастся, только если он, мотоциклет, будет хорошо себя вести. Сама дорога решила им помочь и поэтому стала прямой-прямой – лишь бы они успели. Он говорил своему мотоциклету, что идеально прямых линий не бывает: если дорога милостиво вобрала в себя множество виражей и подвохов, то это справедливо. На это способны только дороги, сказал он, а в жизни так не бывает. Сердце людей не бьется ровно, и, может, по этой причине в их движении нет порядка. Наконец он замолчал, замолчал надолго, спрашивая себя, откуда взялись эти слова.

Крохотная точка мчалась по вечерней пустыне – стук маленького сердца на бескрайних сельских просторах. Позади оставался хрупкий гребешок пыли и резкий угарный запах. Потом запах рассеивался, а пыль растворялась в воздухе. Так при кажущейся неизменности порядка вещей замыкался круг происходящего.

Капоретто. Мемориал

Итальянский фронт, сентябрь 1917 года

Их было трое. Они возвращались в свою траншею, но решили сделать небольшой крюк, спустившись в долину: они хотели увидеть реку – чистую воду и, может быть, людей. Девушек.

Светило солнце.

Кабирия, самый глазастый из троицы, заметил всплывшее лицом вниз тело, которое крутило течением, пока оно не застряло в ловушке из веток и камней. Покойник спускался вниз по реке, обратив к голубому небу затылок и задницу, а глазами будто высматривая что-то под водой. Сам не зная что.

Потом его увидели и двое других.

Вокруг никого.

Тот, кого звали Последним, сбросил ранец на землю и пробормотал что-то насчет своих ботинок, черт бы их побрал. Вытащил из кармана какую-то еду и принялся жевать.

Третий, самый младший, подошел к берегу и стал кидать оттуда в мертвеца камни, иногда попадая в цель.

– Да перестань ты! – прикрикнул Кабирия.

Последний смотрел на безучастные горы. С безмолвной покорностью домашних животных они терпели непрерывное плумление людей, которые беззастенчиво язвили их бомбами и проволочными заграждениями, и трудно было понять, в чем загадка этой покорности. Как ни тщились воюющие превратить гору в кладбище, она стояла, безразличная к мертвым, покорная диктату времен года, верная взятому на себя обязательству передавать эту землю из поколения в поколение. Росли грибы, распускались почки. В реках плавала и метала икру рыба. Гнезда среди ветвей. Ночные шумы. Оставалось неясным, какой урок следовало вынести для себя человеку из этого безмолвного послания – свидетельства стойкости и равнодушия. Осуждало ли оно ничтожность человека или говорило об окончательной капитуляции перед человеческим безумием?

– Да перестань ты, – повторил Кабирия.

– Это немец, – сказал малыш, словно оправдываясь. Но он оказался прав. Мундир был хорошо виден: убитый не был австрийцем.

Кабирия возразил, хотя и без особой уверенности, что немцев в этих краях нет. Присмотрелся получше – мундир определенно немецкий. Время от времени один ботинок показывался над поверхностью, затем вновь уходил под воду.

– Эй, Последний, там немец!

В ответ Последний сделал им знак замолчать. Его товарищи взглянули на небо. Прикрывая рукой глаза от солнца, они щурились, силясь что-нибудь разглядеть.

Самолет появился из-за Монте-Неро. Он едва не задел вершину и начал снижаться над долиной. Слышалось лишь тихое жужжание, словно вдали летела муха.

– Предлагаю пари. Кто выиграет – получает паек, – предложил малыш.

Кабирия согласился.

– Австрийский, – сказал малыш.

– Итальянский, – решил Кабирия.

Одиноким самолет вполне мог быть и своим, и чужим. Он летел прямо на них, оставалось только немного подождать. При виде снижающегося аэроплана малыш сделал несколько шагов в сторону деревьев, под которыми можно было укрыться. На его лице еще

играла озорная улыбка, но он уже с тревогой смотрел на самолет, прикидывая расстояние до него и пытаясь разгадать намерения пилота.

– Что, малыш, в штаны наложил? – загоготал Кабирия.

Малыш отмахнулся, остановившись на полпути между рекой и деревьями.

Никто тогда и не думал, что самолеты могут представлять собой какую-то угрозу. Их воспринимали как глаза, выслеживающие с неба окопы и артиллерийские орудия. Уловка, но пока еще не реальная сила. Сами они не убивали – только предвещали смерть. Они раздражали ненамного больше, чем мухи, вьющиеся над трупом.

Порыв ветра потрянул деревянную штуковину, накренил ее, и по черному императорскому кресту на боку стало понятно, что самолет немецкий.

– Попрощайся с пайком, – обрадовался малыш.

Кабирия сплюнул. Сорвал с плеча винтовку.

На заметку: только в тысяча девятьсот пятнадцатом году немцы разработали синхронизатор для стрельбы через винт из пулемета, установленного на носу. Истинное чудо. Пули, вместо того чтобы дырявить пропеллер и низвергать всю конструкцию на землю, успевали проскочить между быстро вращающимися лопастями и поразить далекую цель. Можно было подумать, что стреляет – непонятно как – сама деревянная лопасть. Французы и англичане тоже дошли до этого, хотя и не сразу. Чтобы избежать крушений, объясняли они, нужно что-то вроде такого синхронизатора, объединяющего крылья и сердце. Война еще не заставила их замолчать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.